Юность N 7 1977 г.





МАТРОС ЖЕЛЕЗНЯК

Никогда бы прежде не подумала, что мне захочется написать о человеке, о котором вроде бы все известно; даже не подозревала, что возможно «открытие» героя, имя которого стало хрестоматийным. Три года назад я собирала материал об одном революционере, и поиски привели меня в семью Медведевых. Хозяин дома, несмотря на свой солидный возраст — восемьдесят лет, оказался неутомимым рассказчиком.

Когда наступило время прощаться, Медведев достал из письменного стола три пожелтевших тетрадных листка, исписанных выцветшими чернилами. «Они могут вам пригодиться,— сказал Медведев,— это письма Железнякова. Очень-очень давно мне передали их его друзья».

Письма Железнякова, легендарного Железнякова— героя революции и гражданской войны.

Я хорошо помню, что даже фамилию героя считала партизанским псевдонимом, так как она очень соответствовала его героическому облику.

И вот письма извлечены из папки...

«ПЕТРОГРАД 27 ноября 1915 г.

Шлю свой глубокий искренний привет, моя дорогая мама!

Вчера получил посылку и глубоко ею тронут — спасибо, спасибо, благодарю.

Живу ничего себе: есть слух, что скоро будет присяга — стало построже, начинают обращаться и спрашивать, как с знающих.

Учимся, занимаемся, как ходить да поворачиваться, а как защищаться от врага, чтобы жизнь свою спасти, того и понятия не имеем.

Зло иногда берет, да что, ведь здесь этого не спрашивают.

Ну, а ты, мама, как живешь?

По-старому с утра до вечера около печи да детей, а как последних уложишь, чаепитие и тихий разговор о делах своих квартирных. Тихо возмущаешься про себя, ах, святая ты у меня старушка.

Знаешь, мама, иногда приходит такая тяжелая минута, ослабнешь духом, и так захочется поговорить с тобой. Да, нет дружка, как родимая матушка.

Да это только на минуту — и опять злоба.

Пиши, мама, это для меня одно утешение.

Целую мальчиков — Колю, Юрочку *; увижу их, когда они большими будут. Целуй их, пусть не забывают дядю Тошу.

Целую крепко-крепко тебя.

Любящий тебя твой сын Анатолий.

Коля, пиши мне, как ты проводишь день: учишься или балуешься?»

Вот отрывок из другого письма, от 9 декабря:

«Живу ничего, но порой нападает такая тоска, не знаешь, куда деваться; худо, но да ничего — как-нибудь промаемся. Утро вечера мудренее.

Пока идет все своим чередом. Последние дни на занятия не ходим — мороз — 15—17°.

Пиши, как живешь, что нового у тебя, как Виктор? Пишет тебе Николай или нет?

Первое Рождество, которое будет для меня так тяжело. В четырех стенах, выбеленных известкой и

Анатолий Железняков. Фото 1919 года.

* Речь идет о племянниках — сыновьях сестры Шуры.

замаранных задавленными клопами, будем сидеть, близко не подходя к окну, хуже, чем кто-либо. Да, дорого же стоит каждая пролитая капля, а мы ее, откровенно говоря, мы ее не ценим...»

Чем больше я вдумывалась в письма, тем больше меня мучило ощущение, которое даже боязно было сформулировать: ведь это не тот Железняков, которого я себе представляла. Не тот, хотя и подпись есть и имена близких сходятся; и письма написаны в конце 1915 года, когда Анатолия взяли на военную службу. «Тот» Железняков — человек исключительной отваги, готовый отдать жизнь без колебаний; «этот» — по-детски беззащитный, беспокоящийся о том, как сохранить жизнь. «Тот» — величественный, монументальный, лихой; «этот» — непривычно мягкий, скучающий по дому.

Я много раз рассказывала о «том» — героическом Железнякове своим ученикам. И каждый раз сама поражалась тому, как много сумел он сделать за свои 24 года: штурм Зимнего, подавление контрреволюционного мятежа Краснова — Керенского; захват вражеского бронепоезда на пути к Москве. Затем — бросок Первого сводного петроградского отряда на Украину: разгром банд Духонина на ст. Томаровка, подавление мятежа юнкеров в г. Чугуеве. Снова Питер — разгон Учредительного собрания, фраза, которая вошла в историю: «Караул устал...» Назначение членом военной коллегии по борьбе с румынской боярщиной — спасение нескольких тысяч революционных матросов и имущества 6-й армии, прорыв к морю по Дунаю, защищенному румынскими мониторами,— блестящая военно-морская операция... Ряд новых заданий в Москве, в Кронштадте. И вот Железняков — командир Еланского полка на Царицынском фронте. Отчаянно смелые, успешные вылазки в тыл противника... Подпольная работа в Одессе... И смерть его была поистине героической: Железняков — командир бронепоезда — наносит удары по врагу на Екатеринославском направлении.

...26 июля 1919 года, сконцентрировав огромные силы, деникинцы пошли напролом. Бронепоезд оказался в кольце. Два пути было у команды: отстоять свою крепость или взорвать бронепоезд, а самим спастись вплавь через Днепр. Товарищи выбрали первый. Пренебрегая опасностью, Анатолий Железняков поднялся из командирской будки, сумел уложить вражеского наводчика, командира орудия белогвардейцев, заряжающего, но сам был смертельно ранен. Бронепоезд вырвался из кольца, но командира спасти не удалось.

Я всегда чувствовала, с каким волнением слушают мой рассказ ученики, и мне казалось, что я смогла передать им и свое отношение к герою, и свои чувства. Мне казалось, что я рассказываю то, что нужно, и так, как нужно. Теперь я так не думаю... Ни разу, ни в одном из классов я не догадалась задать моим слушателям простой вопрос: почему Анатолий Железняков так беззаветно, мужественно защищал Советскую власть? (Ведь героизм не может быть врожденным свойством характера.)

Мы чтим память героев не только из чувства долга, но и по велению сердца — это верно. Но как нужно чтить память? Сами герои не встанут из прошлого, не подскажут, не объяснят нам, что́ в своей жизни они считали главным, что бы хотели передать будущим поколениям. Письма Железнякова заставили меня вдуматься в слова: «Чтить память...»

Мне захотелось по-настоящему познакомиться с Анатолием Железняковым. Сейчас трудно объяснить, почему это желание оказалось столь сильным. То ли меня тронула его нежность и доброта по отношению к матери (какую мать это не тронет!), то ли понравилась искренность, непосредственность? То ли задело меня полное незнание душевного мира героя, которого я считала дорогим? Ученики помогли мне собрать опубликованные в последнее время материалы. А в каталоге Государственной исторической библиотеки я нашла перечень всего, что написано о Железнякове, и углубилась в чтение. Перечитала все, что можно,— старое и новое, документы и повести, мемуары, статьи.

К счастью, опубликован почти полностью дневник Анатолия Железнякова — «Памятная тетрадь» [1]. Дневник велся меньше года, но во многом он раскрывает внутренний мир юноши. Не нужно даже детально изучать все материалы об Анатолии Железнякове, чтобы понять, какой яркой, незаурядной личностью

[1] Журнал «Новый мир», 1941, № 2, и сборник «Матрос Железняк», 1959 г.

Рита Немировская — преподавательница истории 849-й московской средней школы. Очерк ее интересен не только тем, что содержит не публиковавшиеся ранее письма легендарного матроса Анатолия Железнякова, но и стремлением автора в канун 60-летия Советской власти дополнить новыми чертами образ героя революции, участника штурма Зимнего, делегата 2-го Всероссийского съезда Советов, боевого красного командира, взглянуть на него глазами сегодняшнего молодого человека. Есть и еще одна примечательная сторона у этой публикации. Собирая документы и новые факты из жизни Анатолия Железнякова, Рита Немировская старалась расширить урок истории, углубить знания своих учеников о славных днях революции и гражданской войны. Увлеченность, с которой учительница собирала документальные материалы, передалась и ребятам. «Их неподдельный, искренний интерес к личности героя,— считает учительница,— был, наверное, самым серьезным стимулом в моей работе. Ребят интересовал не «хрестоматийный» Железняков, а живой человек с его сомнениями, исканиями. Они потом подключились и к поисковой работе».

был он. Всех, с кем сталкивала его жизнь, независимо от возраста и занятий, независимо от того, часто ли пересекались их жизненные пути, всех покорил молодой матрос.

В воспоминаниях ветеранов гражданской войны, одесского подполья, написанных в 50-е годы, столько искренней любви, какой-то братской преданности Железнякову, словно жизнь разлучила их только вчера.

Вс. Вишневский в очерке, посвященном Анатолию Железнякову, передает рассказ Р. Пелита, бывшего солдата русской бригады во Франции. «Сам Железняков произвел на вернувшихся сильнейшее впечатление... Он вдохновенно рассказывал им про революцию, про новые идеалы».

Всего одна встреча с Железняковым оставила в памяти у солдата такой глубокий след.

В. Д. Бонч-Бруевич, видный деятель партии большевиков, соратник и друг В. И. Ленина, с огромной симпатией, прямо-таки влюбленно отзывается об Анатолии Железнякове.

В чем же источник огромной человеческой симпатии, которую вызывал Анатолий Железняков? В чем тайна той притягательной силы, которой обладал Железняков? Может быть, в его разносторонних, незаурядных способностях?

Тот, кому удастся познакомиться детально хотя бы с одной боевой операцией Железнякова, без сомнения признает, что у него были все качества выдающегося военачальника, умение объективно оценить обстановку, быстрота реакции, неожиданность тактических приемов, беспримерная личная отвага, удивительный контакт с товарищами, умение обобщать, анализировать. Ведь в годы революции и гражданской войны функции армейского командира были гораздо шире, чем сейчас. Назначенный членом Военной коллегии, двадцатидвухлетний матрос должен был быть и политическим деятелем и дипломатом.

Письма, дневники обычно пишутся без черновика, «набело». В каждой фразе Анатолия Железнякова чувствуется ритм, яркость, образность. То, что писатель-профессионал тщательно отрабатывает, шлифует, дано было Анатолию, как говорят, от бога. Свой дневник «Памятную тетрадь» Железняков начал вести в 1916 году. Задавленный каторжной службой матроса-кочегара, он находил время, чтобы выразить в дневнике свои впечатления, доверить бумаге свои мысли и чувства. Он не мог не писать — разве это не основная черта литератора?

«Скоро в рыбачьем поселке стало тихо, безлюдно, лишь кое-где отворялась дверь, и женская фигура долго стояла в немом напряжении, устремив взгляд на море, стараясь проникнуть взором как можно дальше в ночную мглу бушующего моря...»

Некоторые отрывки кажутся мне подкупающе искренними, яркими: «Одиноко и бледно светили рейдовые огни, быстро качаясь от налетавших на них порывов ветра и часто-часто мигая, как ребенок, которому сделали выговор и которому так стыдно за свой проступок...»

После Февральской революции Железняков работает по заданию большевистских организаций, отстаивая позиции ленинской партии в основных вопросах войны, мира, революции. В годы гражданской войны он был агитатором. Часто его выступления были крайне рискованны и могли стоить Железнякову жизни. Один такой случай произошел в Одессе в 1919 году. Российские буржуазные «демократы» всех мастей — от кадетов до эсеров — ввели новую своеобразную форму идеологической борьбы против большевизма — периодически устраивали инсценировки суда. Опытные буржуазные юристы, журналисты, члены Думы перед соответствующе подобранной аудиторией глумились над вождями рабочего класса. Анатолий Железняков, бывший в Одессе на нелегальном положении, решил сорвать очередное судилище. В этот вечер аудиторию клуба составили не только чиновники и студенты, но и рабочие...

...Когда на кафедру в качестве оппонента поднялся элегантный молодой человек и несколькими доводами — точными и в юридическом и в стилистическом отношении — сразил «судей», словно бомба разорвалась в зале. Даже опытные юристы не могли заподозрить в юноше, превосходно владеющем речью, знаменитого Железнякова, воспитанного на «небоскребных» ругательствах матросни и не имевшего даже законченного среднего образования. Сила Анатолия Железнякова как оратора заключалась, наверное, в том, что каждое слово, каждая мысль его не были почерпнуты из учебника или заучены с чужих слов: они были выношены, выстраданы не одним днем или месяцем его собственной жизни. Искусством говорить Анатолий интересовался всегда. «Я люблю читать речи депутатов. Не оттого, что я слышу в них звуки смелой правды,— нет, меня каждый раз приводит в восторг горячая речь оратора». (Запись в дневнике от 11 января 1917 г.)

В «Памятной тетради» много рисунков — довольно выразительных — портреты сестер милосердия, офицеров — видимо, Анатолию хотелось и таким способом запечатлеть свои наблюдения...

Из разных источников известно, что Железняков знал французский язык. Где и как он изучил его, для меня остается загадкой: во всяком случае, не в учебном заведении. Может быть, первые шаги были сделаны дома,— сестра могла помочь мальчику, но она нигде не пишет об этом. Жена Анатолия Елена Николаевна Винда хорошо знала французский, но еще до знакомства с нею — в начале 1918 года — Железнякову пригодились его знания этого языка. Неужели он одолел его сам?

Он поражал окружающих и глубоким пониманием технических вопросов. Когда заканчивалось сооружение бронепоезда, Железняков давал такие разумные и смелые указания специалистам, что те были твердо уверены — командир бронепоезда имеет диплом инженера.

Железняков был человеком огромной воли и целеустремленности, гигантской энергии. Но революция воспитала немало героев, которых отличали эти качества. Значит, было еще что-то, что выделяло Анатолия Железнякова в ту грозную пору среди борцов революции, было что-то, сделавшее имя Железнякова легендарным еще летом 1917 года, до решающих революционных событий. Что же это?

Обратимся к детству Анатолия, к истории его жизни. Он родился 20 апреля (2 мая) 1895 года в селе Федоскино, под Москвой, в семье отставного солдата. Григорий Егорович Железняков, гренадер русской армии, был награжден двумя георгиевскими крестами за храбрость в русско-турецкой войне 1877—1878 годов. В такой семье воинский подвиг не может не быть окруженным ореолом романтики. Когда Тоше было несколько месяцев, семья переехала из Федоскина в Москву: отец получил место смотрителя купеческого дома. Эта должность имела то преимущество, что создавала для большой семьи Железняковых сносные жилищные условия.

По отзывам сестры, Тоша рос на редкость спокойным ребенком. Это удивляет — по трафарету мы привыкли думать, что отчаянный смельчак и в детстве непременно должен быть сорвиголовой. Но, видимо, в «тихом омуте» не только черти водятся, а рожда-

Петроградъ 27 Янв
Шлю свой глубокий искренний привет
мою дорогой мама. Вчера получил
посылку и глубоко ее тронут спасибо
спасибо благодарю. Живу ничего себе
есть слух что скоро будет присяга
стало построже начинают обращаться
и спрашивать как съ знающих

ются и настоящие люди — вдумчивые, наблюдательные, глубоко чувствующие.

С разными людьми мог соприкоснуться в жизни подросток Тоша Железняков: разудалые матросы, приятели старшего брата Николая, заразившие мальчика мечтой о море; неунывающие, верные в дружбе фабричные ребята — к ним всегда тянуло Анатолия; задавленные нуждой немолодые соседки, заходившие в гости к вдове Марии Павловне; гимназистки — приятельницы сестры...

Если предположить, что идейным наставником Анатолия Железнякова оказалась сама жизнь со всеми ее противоречиями, то его нравственное воспитание было, несомненно, заслугой Марии Павловны — бесконечно доброй, трудолюбивой женщины, которая сумела воспитать в Анатолии высокие качества души. До конца дней питает он полную нежности любовь к матери и сестре.

А вот в интеллектуальном отношении воспитанник рано перерос своих воспитательниц. Александра Григорьевна признается, что Тоша задавал ей и матери много вопросов, на которые они не могли ответить. Он находил утешение в книгах и страстное увлечение ими сохранил на всю жизнь.

Цитирую воспоминания сестры: «В детстве он не обладал даром красноречия. Я помню, что когда Анатолий начинал рассказывать что-нибудь, то домашние говорили ему шутливо: «Ладно, Анатолий, завтра доскажешь...» И добавляет: «...а теперь мы его слушали и наслушаться не могли» (это в 1918 году).

Не от природы был наделен Анатолий Железняков разносторонними способностями, он развил их в себе. В дневнике неожиданно появляются записи, где даются продуманные, объективные характеристики не только близким ему людям, но и многим явлениям жизни. Он пишет о Николае: «...Душная, угарная жизнь брата» (16 февраля 1917 г.). И очень точно характеризует Анатолий мещанскую приземленность Виктора, в то время не определившего еще своего жизненного кредо. «Получил письмо от Виктора! Да, в этом сидит другой человек, нежели во мне — этот скоро встанет на последние мертвые якоря в тихой пристани. Купит герань для окон, занавески, самовар медный, жену заведет. Сундук его желаний небольшой, а потому он скоро его заполнит: малому кораблю и малое плавание!» (25 января 1917 г.)

С детства Анатолий питал ненависть не только к любому произволу, унижению человеческого достоинства, но и ко всякому приспособленчеству. В борьбе с несправедливостью Анатолий проявлял такую силу характера, такое упорство, что не раз сам оказывался в крайне затрудненном положении.

После церковноприходской школы Мария Павловна с трудом устроила Анатолия учиться за казенный счет в Лефортовскую военно-фельдшерскую школу. Хотя с детства он страстно мечтал быть моряком, теперь, уступая просьбам матери, согласился учиться на фельдшера. Окончить школу Анатолию не пришлось: его исключили за отказ участвовать в параде в честь императрицы. Семья Железняковых переселилась в Богородск (ныне г. Ногинск). Анатолия устраивают учеником аптекаря при Глуховской мануфактуре Морозова. Выполняя подчас обязанности фельдшера, юноша бывает и в цехах фабрики, и в рабочих казармах. Жизнь российского пролетариата — смягченная каторга, увиденная не со стороны, не могла не потрясти семнадцатилетнего Анатолия. Еще больше возмущало его ханжество и произвол хозяев. Однажды, возвращаясь с фабрики, Анатолий увидел группу всадников: сам Арсений Морозов с дочерьми и гостями выехал на прогулку. Фабрикант требовал, чтобы рабочие при встрече снимали шапки и низко кланялись. Поэтому он очень удивился тому, что какой-то «молокосос» не замечает его.

— Почему ты не снимаешь шапки, подлец? — негодующе спросил Морозов.

— Я снимаю шапку только перед попом!

— Ты что, не знаешь, кто я? Я хозяин фабрики, твой кормилец!

— Тебя кормят рабочие своим трудом, а не ты рабочих.

Эта «откровенность» Анатолия не прошла даром — он был уволен.

Все последующие годы его жизни — это борьба против всего, что унижает. А что унижает его более всего? Где главный источник зла? Снова поиски, снова трудности. Он едет к брату Николаю в Таганрог —

мечта стать моряком не оставляет Анатолия, но попытка попасть в Ростовское морское училище кончается неудачей: он занесен в черные списки неблагонадежных.

Началась первая мировая война. Ощущалась нехватка в рабочей силе, потому и удалось устроиться слесарем на Бутырский завод Густава Листа. На заводе Анатолий получает от товарищей первое революционное задание: в ящики вместе со снарядами вкладывать антивоенные листовки...

Осенью 1915 года Анатолия Железнякова призвали на военную службу на Балтийский флот. На учебном судне «Океан» система человеческих отношений копировала в миниатюре всю Российскую империю того времени: тупость высших чинов, произвол, попрание элементарных прав человека... Выдержать все это можно было только надеясь на недолговечность такой каторги. После нескольких посещений судна жандармским ротмистром придирки к «неблагонадежному» матросу Железнякову превратились в хорошо продуманные провокации. Вскоре они привели к конфликту... Под конвоем Железнякова отправляют в шлюпке в Кронштадт. Ему удается бежать. Долгое время Железняков живет на нелегальном положении. В Москве друзья Анатолия — рабочие с завода Густава Листа достают ему документы, освобождающие юношу по льготе от военной службы.

С фальшивыми документами Железняков благополучно минует жандармские кордоны, добирается до Черного моря и устраивается кочегаром на корабль «Принцесса Христиана». Корабль курсировал между Батуми и Новороссийском, бывал и у берегов Турции. Продолжалась мировая война — «Принцесса» перевозила раненых с Кавказа, перебрасывала пополнение. Впечатления переполняли Железнякова — именно к этому времени относятся первые записи в его «Памятной тетради». Матрос корабля «Принцесса Христиана» Анатолий Железняков ненавидел уродства российской действительности. Не заботясь о конспирации, он откровенно делится мыслями с дневником. «Удивительно для других народов и характерно для России: может отсутствовать провиант, фураж и предметы первой необходимости, отсутствуют школы, приюты и т. п., но зато повсюду, где ступила нога российского администратора, мгновенно выросли полицейские, жандармские управления, тюрьма, арестные и прочие злокачественные учреждения». (Запись от 12 сентября 1916 г.) Сначала Анатолий мечтает избавиться от этой мерзости, бежав в далекую Америку; затем эти юношеские романтические мечты сменяются практическим выводом более зрелого человека — не бежать от жизни, а переделать ее. Идеал двадцатилетнего Железнякова — борьба. «После того, как я жил и работал в Москве, все кажется бледным; опять сильно тянет к той жизни — хочется сказать все, что продумано в долгие вечера, сказать, где ложь, опять поднять знамя с призывом работать». (Запись от 13 января 1917 г.) Это очень характерно для Анатолия. Как о самых лучших днях своей жизни он вспоминает о труде, об организованной, продуманной борьбе рабочих, о крепкой пролетарской спайке.

Новая жизнь начинается для него уже после Февральской революции. Железняков опять на Балтике. Он член Кронштадтского Совета. «Жизнь... резко повернула течение и усилила свой бег. Было собрание моряков. Выхожу, говорю и начинаю жить той жизнью, о которой мечтал,— жизнью общественного деятеля. Писать лень, дел бездна. Но кто же я?» (Запись от 7 апреля 1917 г.) На этот вопрос ответила не запись в дневнике, а сама жизнь. Из бунтаря, ненавидевшего мерзости царской России, Анатолий Железняков превращается в революционера.

Анатолий Железняков сражался и погиб за коммунистические идеалы в самом широком и в самом конкретном смысле этого слова, он был страстным пропагандистом нового строя. Его нравственный облик подкупает не меньше, чем его отвага и мужество. Поразительна чистота его чувств.

Дружбою с Анатолием дорожили замечательные люди: Н. А. Ховрин — балтиец, член партии с 1915 года, боевой друг и соратник Железнякова; герой гражданской войны комдив В. И. Киквидзе — ровесник Анатолия в самом полном смысле слова: оба родились в 1895 году, оба погибли в 1919-м и похоронены рядом.

Вот отрывок из воспоминаний жены Железнякова Е. Н. Винда: «В характере Анатолия была одна ярко выраженная черта — это глубочайший интернационализм революционера-рабочего. Среди его друзей были русские, украинцы, латыши, евреи, поляки, грузины, и любое проявление расовой дискриминации, вызывало в нем сильнейшее негодование. Эти чувства он считал несовместимыми с революционным мировоззрением и с достоинством человека».

Краткие записи Анатолия Железнякова в дневнике о каторжном труде кочегара показывают, на какую страшную жизнь были обречены российские матросы, подчас вынужденные топить свою злобу и тоску в кабаках приморских городов. И Анатолия Железнякова жизнь швыряла на самое дно. Но от ее грязи, словно панцирь, защищала его огромная сила воли, мучительный поиск смысла жизни и своего места в жизни, неуемная жажда знаний.

Казалось, он стремился овладеть всеми богатствами знаний, которые выработало человечество. Он учился в любых условиях. В крошечном сарайчике в Богородске Анатолий проводил за книгами ночи напролет. «Два-три томика — таков был его ночной «паек»,— вспоминает сестра. Анатолий не расставался с книгами и в короткие часы, свободные от службы. Он читал даже тогда, когда «нечего» было читать. «Занимаюсь перелистыванием книги Джека Лондона, которую читал за короткий срок раз шесть, и чтением старой газеты: некоторые места знаю наизусть...» (Из записи от 11 января 1917 года.)

О высоком, сознательном и поистине пролетарском бескорыстии рассказывают воспоминания его товарищей: «Во время национализации банков Железняков командовал отрядом, вывозившим драгоценности... Разные люди встречались в отряде. Когда машины прибыли в Смольный, кое-кто из конвоя затеял разговор о том, что не худо, мол, и поделить кое-что из буржуазного добра. Железняков вскочил на подножку автомобиля. На измученном лице его глаза ярко вспыхнули гневом, рука легла на маузер.

— Все, что привезено, должно быть цело и неприкосновенно, так же, как там, в банке! — сурово сказал он.— Это все отныне принадлежит народу.

Сохранился еще один авторитетный исторический источник. Это воспоминания видного деятеля партии большевиков, друга и соратника В. И. Ленина — В. Д. Бонч-Бруевича.

В те тревожные дни 1918 года контрреволюция провоцировала антисоветские демонстрации. Отряд Железнякова призван был установить порядок без кровопролития. «В черных бушлатах стояли матросы стройными линиями. Толпа вдруг двинулась с какой-то неожиданной решимостью. Момент был критический. Матросы замерли в ожидании. Вдруг от них отделился Железняков и бегом бросился к иду-

щей сумрачной толпе... Зазвенел, переливаясь, его приятный взволнованный голос... Простые, задушевные слова красавца матроса, смело подходившего к самой гуще демонстрантов, оказали магическое действие».

Один из очерков Бонч-Бруевича для нас особенно ценен: это единственный источник, показывающий Анатолия Железнякова в среде анархистов. Герои очерка — братья Железняковы — старший Николай и Анатолий. Тогда, в первые месяцы после революции, оба они были в гвардейском флотском экипаже. Матросы его, по-анархистски понимая власть народа, без суда и следствия арестовали трех бывших офицеров царской армии. Один из матросов сообщил о свершившемся беззаконии в Смольный. В. Д. Бонч-Бруевич и рабочие комиссары ночью отправляются в здание гвардейского флотского экипажа с письменным указанием В. И. Ленина ликвидировать эти беззакония.

Когда собрались все матросы и была сформирована местная следственная комиссия, Бонч-Бруевич прочел предписание Владимира Ильича и обратился к председателю комитета флотской части: «Правда ли, что некоторой частью матросов самовольно арестованы три офицера и что они содержатся в крайне скверных условиях?

Железняков блеснул глазами.

— Правда! — ответил он.

— Прошу сделать распоряжение доставить Масленникова (один из арестованных.— Р. Н.).— В зале прошел ропот.

Я в упор смотрел на Железнякова. Он вспыхнул и произнес:

— Доставить Масленникова...»

Анархистскую вольницу, которую Железняков принимал за свободу, пресекает Советское государство. И Железняков не из страха, не из чувства формально понятой дисциплины, а убежденный логикой и силой приказа подчиняется ему, выступает против своей же «братвы». С группой моряков он покидает гвардейский флотский экипаж, является с отрядом в Смольный, а затем, получив боевое задание, отправляется на фронт.

Конец очерка В. Д. Бонч-Бруевича тоже во многом посвящен Анатолию Железнякову. И невольно возникает чувство, что сам очерк был написан не только для того, чтобы ярко и глубоко раскрыть опасность анархизма в условиях победившей социалистической революции, не только для того, чтобы показать отношение В. И. Ленина к анархии, беззаконию, жестокости, но и для того, чтобы отделить от всего этого Анатолия Железнякова, чтобы в памяти потомков он остался героем революции. Концовка очерка оказалась пророческой. «Рабочий класс никогда не забудет этого безумно храброго, всегда искреннего, всегда честного бойца революции, отдавшего свою жизнь за то единственное, что было для него дороже всего: за благо и счастье освобожденного народа, за благо и счастье рабочих и крестьян».

...Не знаю, нашла ли я нужные слова, чтобы объяснить то, что поняла сама: Анатолий Железняков, прежде чем совершить легендарные подвиги во имя революции, воспитал в себе человека бескомпромиссного, убежденного, мужественного. Наперекор всему... И это тоже хочется назвать подвигом.

Р. НЕМИРОВСКАЯ

Владимир Демидов





Отцовская шинель

На отцовской шинели серой —
Золотистая кобура.
Семь патронов от револьвера —
Не мальчишеская игра.

Перекатываю в ладони
Холодящую пальцы медь,
И уздечками чьи-то кони
Начинают во тьме звенеть.

Если друг — я его не трону,
Но не стану спиной к врагу:
Распечатаю все патроны,
А последний поберегу...

Шлем качается с шашкой вровень
Над летящим в пургу конем,
Цвета солнца и цвета крови
Проступает звезда на нем.

Если я хоть чего-то стою
И под пулями устою,
Буду мерить лишь той звездою
И судьбу и любовь свою.

Баллада о четвертом

Нас, мальчишек, было только трое
В том строю, что сразу поредел:
Каждого четвертого из строя
Гитлеровцы гнали на расстрел.

Я считал, какой мне номер выпал,
И, почуяв холодок стальной,
Жаркий воздух ртом хватал, как рыба,
Брошенная на берег волной.

А когда спиной прижался к тыну,
Одноногий дядька Опанас
В сторону меня легонько сдвинул
И сказал: «Жывы, малый, за нас!»

По-над речкой покачнулись ивы.
Ласточки запутались в дыму.
Но мальчишки — все — остались живы
И еще не верили тому.

Плыли небеса в глазах у мертвых,
Медленно кружилось воронье.
И смотрел на каждого четвертый,
Как на продолжение свое.

Леонид Первомайский



✪

Жизнь,
Которая будто идет стороною,
Остается со мною,
Сливаясь со мною,
И подобна зарнице,
На бурю похожа,
И хотела б меня миновать,
Да не может.

И когда б
Я ее миновать захотел бы,
Никогда бы не смог,
Никогда не посмел бы,—
И когда б не моя ее кровь
Омывала,
Никогда б
Она силы своей
Не узнала.

Воронеж

Все то, что сам в себе хоронишь,
Не называя никогда,
Вдруг просыпается... Воронеж.
И та война, и те года...

Глубокий снег лежит, как сахар,
А губы сохнут и горчат.
Пять этажей — они с размаху
Еще и рухнут и сгорят.

На окнах затемненье никнет,
И ничего не жди назад.
Все прах, но сердце не привыкнет
К обыкновенности утрат.

И хрипло вскрикивают птицы,
Взлетая с ближней каланчи.
На пятом этаже не спится,—
Стихи слагаются в ночи.

Нехитрые стихи солдата,
Но в них душа твоя живет
И в синем воздухе куда-то
Над стихшим городом плывет.

Твой голос плачет, и тревожит,
И немотою поражен,
Он сам себя найти не может,
И сам себя не слышит он.

Он видит лишь ночное поле,
В котором ты один, как перст,
Снегов безлюдное раздолье,
Один на сколько верст окрест.

Что он тебе поведать может,
Чего бы ты не знал давно!
На брошенный тайник похоже
Твое потухшее окно.

Тепло и свет,— тужа и плача,
Где их искать, где их найти,
Когда и жизнь прожить — задача,
Как поле боя перейти.

✪

Освобождаясь понемногу
От мрака и ночного сна,
Лес сонно смотрит на дорогу,
Которая едва видна.

Но вот делянка гречки белой
В росе, похожей на слезу,
Под ветром тихо закипела,
И речка светится внизу.

И на серебряном крылечке,
Сверкая с головы до ног,
В лучах рассвета, как в насечке,
Стоит серебряный денек.

И свысока к своим царевнам,
Приветствуя грядущий день,
Петух летит сполохом гневным,
В пунцовой шапке набекрень.

И все горит, звенит, смеется,
Сливается в слепящий свет
И так пылает, что сдается:
Той ночи не было и нет.

Она в яру едва успела
Остывших два крыла сложить...
...Когда бы и душа умела
Так быстро сумрак пережить!

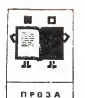
И, сладив со своей бедою,
С утра, с улыбкой на лице,
Счастливою и молодою
Встать на серебряном крыльце.

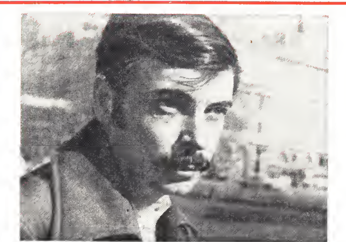
✪

Есть небо. И зори. И ветер. И тучи.
И крылья в лазури. И солнце в ручье.
Жар яркого сердца, тревожный и жгучий,
Со счастьем когдатошним в том же ключе.
И если оно успокоится вскоре,
Устав до предела от пройденных круч,—
Все это останется — ветер и зори,
И солнце в лазури, и скопище туч.
И девочка в светлую воду заглянет,
Как в зеркало. Девочка в ярком венке
Короткой красой своей тешиться станет,
Что вскоре исчезнет, как след на песке.

Перевела с украинского
М. АЛИГЕР.

Известный украинский советский поэт и прозаик Леонид Первомайский (1908—1973 гг.) оставил большое литературное наследство. Предлагаемые стихи были изданы на украинском языке в посмертных сборниках Леонида Первомайского; в переводе на русский язык публикуются впервые.





Юрий
АДАМОВ

Юрию Адамову тридцать лет. Работает в многотиражной газете «Кировец» московского завода «Динамо». Дебютировал в журнале «Юность» рассказом «Первая получна» (№ 10, 1974 г.).

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

ПОВЕСТЬ

Рисунки
В. МОЧАЛОВА.

1

В ноябре наползли на городок черные, глухие ночи. Потом повалил снег, тяжелый, мокрый, и скоро лег, задушив звуки, толстой рыхлой шубой на всю округу. Днем шуба подтаивала, оседала, проваливалась, а ночью ее легонько прихватывало поверху хрупкой коркой.

Снег прекратился так же неожиданно, как и начался. Открылись голубое небо и солнце, все засверкало, и потекли, как весной, в реку мутные, бурливые потоки. И птицы, словно перепутав время года, засуетились, загорланили в чистом, высоком небе. Да и у людей нет-нет и мелькала детская глупая надежда: вдруг правда весна. Вдруг не будет долгой, тоскливой зимы, а вот так, сразу: осень — весна. И от этого почему-то на секунду становилось приятно...

Но снова в одну ночь все перевернулось. С вечера, будто утверждая незыблемость законов природы, налетел ветер и всю ночь напряженно гудел в кронах деревьев, тонко пел в щелях и упруго бился в окна. После него пришли сухие, колючие морозы.

Как-то после работы Степа стоял на набережной, облокотившись на шаткий деревянный парапет, и смотрел на реку, затянутую первым тонким льдом. На ее ровном белом полотне распластались длинные, неясные тени деревьев и собственная Степина тень — тоже нелепо длинная и странно изогнутая.

С противоположного берега, из Верхнего города, вниз к реке скатывались на санках мальчишки. Они с криками и свистом слетали с горы, проносились по обледенелому мосту и пропадали в темноте неосвещенного Нижнего города.

Степа долго стоял задумавшись, а когда очнулся, понял: что-то произошло.

Было тихо, и мальчишки уже не съезжали с горы. На мосту собралась небольшая толпа. Темные фигуры людей суетились, размахивали руками, и до Степы изредка долетали их возбужденные голоса. Слов он не разбирал. Мимо него, сильно топая, пробежали двое мужчин. Потом кто-то громко потребовал, чтобы принесли веревку.

Люди на мосту были чем-то заняты, а их посыпал мелкий, редкий снег.

— Ой, господи, утонет! — раздался вдруг тонкий одинокий женский крик.

Степа оторвался от парапета, выпрямился и напряженно посмотрел туда, откуда кричали.

А через секунду крикнула другая женщина — грубо и хрипло:

— А-а-а! Пустите!

И сразу же от толпы на мосту отделились две фигуры, согнутые тяжестью бьющегося у них в руках тела.

— Сейчас,— сказал кому-то Степа.— Сейчас...

И побежал.

Он протолкался к перилам моста и заглянул вниз. Прямо под ним зияла черная полынья, и в ней что-то двигалось. Что именно двигается, он не различал, лишь на воде от слабого далекого света фонаря играли блики.

— Там, видишь, как-то горка накаталась,— сказал рассудительный голос сзади.— А он как въехал, так и...

— Вот-вот,— живо откликнулся другой голос,— что-то вроде трамплина. Они, понимаете, всегда скатывались и попадали на мост. Он хотя и широкий, но, знаете, просто дух захватывало. А скорости-то у них — ужас! Я сам видел: попал он на этот трамплин и полетел. Как птица! А я уж говорил-говорил им... Ругался даже. Разве послушают... И вот пожалуйста!

Со стороны Верхнего города донесся тот же страшный женский крик.

— О, господи,— прошептала женщина рядом со Степой.— Что матери-то теперь...

Степа напряженно, до рези в глазах смотрел вниз. И в какой-то момент вдруг увидел маленькую руку, которая судорожно хваталась за кромку льда. Лед ломался под ней.

Степа резко выпрямился и растерянным взглядом обвел людей. И сразу вокруг него образовалось пустое пространство: люди отодвинулись. Он переступил с ноги на ногу, жалобно улыбнулся, словно прося за что-то прощение, и снял шапку. Резкий холодный ветер сразу ожег голову, растрепал волосы.

— Ты шапку-то надень,— сказал тот же рассудительный голос.— Все теплее.

Степа послушно натянул шапку.

Он почти перестал понимать, где он и что с ним происходит. Он только чувствовал, что им движет какая-то сила — ему казалось, от него самого не зависящая. «Да скорее, скорее же»,— пробормотал он, словно обращаясь к тому, кто руководил сейчас его действиями.

Он еще раз улыбнулся, подобрал полы пальто, неуклюже перелез через перила и свалился в реку. «Как бы ногой в него не попасть»,— пронеслось в голове Степы, и в тот же момент он упал в воду.

Ему повезло: сразу под руку попалось что-то мягкое, и он за воротник приподнял мальчишку над водой. И тут же погрузился сам.

Сначала вода не показалась ему особенно холодной, только ломило мокрое лицо на ветру; когда он погружался с головой, лицу было теплее. Но постепенно одежда намокла, и Степу словно облепила тяжелая ледяная вата. Вата становилась холоднее и холоднее и все сильнее тянула вниз...

Он почти не мог двигать ногами — мешало мокрое пальто — и только молотил свободной рукой по льду, но все равно чувствовал, что задыхается, что ему уже не хочется сопротивляться, а только бы отдохнуть.

Он взглянул наверх: темная толпа нависла над мостом, люди что-то кричали, махали руками. «Простужусь,— подумал Степа.— Холодно».

Вдруг его осенило, что он держит мальчишку под водой. Он попытался приподнять его, но не смог — только погрузился сам и глотнул холодную воду. «Утону»,— безразлично подумал Степа, но в это время его тело сделало отчаянное последнее усилие, и он вынырнул; потом снова захлебнулся, и снова какая-то непонятная сила вынесла на поверхность. Сознание уходило. Работал инстинкт — заставлял в бессмысленном, безнадежном положении бороться за жизнь. Потом Степу сильно потянуло вниз — гораздо сильнее, чем раньше. Он перестал барахтаться и сопротивляться и лишь судорожно сжимал воротник пальто мальчика.

...На берегу он на секунду очнулся, увидел над собой черное звездное небо, людей, которые что-то делали рядом, а чуть дальше, в свете фонаря — Костю. Костя стоял, широко расставив ноги, и, запрокинув голову, вливал в себя что-то из бутылки, а сзади невысокий человечек заботливо придерживал его спину, хотя было очевидно, что Костя в этом не нуждается.

В тусклом свете плавали редкие снежинки.

Степа вспомнил про мальчишку и беспомощно зашарил рукой по земле. «Живой, живой»,— сказал чей-то голос над ним, и Степа закрыл глаза.

Но черное звездное небо и силуэты людей не исчезли — наоборот, люди, склонившиеся над Степой, вдруг стронулись с места и закружились в печальном бесшумном хороводе. А немного погодя и звезды пришли в движение, словно вверху кто-то медленно вращал черный диск со сверкающими белыми блестками.

Люди и звезды кружились все быстрее и быстрее, а потом остановились, и Степа ощутил, что стремительно летит в какую-то темную, бездонную дыру.

Степа провалялся в постели больше месяца с двусторонним воспалением легких. За это время его навестили ребята из цеха и дважды заходил Костя.

Степа уже знал от Нади, что мальчишка жив и что он оказался сыном заместителя директора их комбината. Знал и то, что действительно перед мостом образовалась незаметная ледяная горка, чуть в стороне от колеи, проложенной санками. Один из ребятишек попал на нее и, взмыв в воздух, упал в реку.

Но подробностей того, как Костя вытащил его из реки, Степа не знал. Сам же Костя в присутствии Нади рассказывать не хотел, отделывался общими словами, становился хмурым и молчаливым. Но однажды, когда они были вдвоем, он оживился, глаза его вспыхнули знакомым Степе шальным блеском, на скуластом лице заиграла улыбка.

— Понимаешь,— азартно и заговорщически начал Костя, наклоняясь к нему,— подошел я, а они веревку притащили и бросают тебе — лови, значит! Ах вы, думаю, суки, хотите, чтобы он веревку вашу поймал! А я-то вижу, что ты уже почти готов...

— А ты что же, разглядел меня там?

— Там? — Костя задумался.— Нет, мне сказал кто-то, что прыгнул парень с нашего комбината, а я сразу и подумал, что ты.— Он недоуменно пожал широкими плечами: — Так сразу и подумал.

— И дальше чего?

— Да ничего! Обвязался веревкой и прыгнул! Ну, и холодно было, мать честная! Ты не замерз? — Он ткнул Степу кулаком в плечо.— А в воротник ты ему вцепился — еле отодрали!

— Не страшно тебе было прыгать? — с интересом спросил Степа.

— А тебе?

— Нет,— подумав, ответил Степа.— Я и не собирался даже. Само как-то получилось.

Он хотел сказать, что прыгнул в реку, потому что увидел маленькую детскую руку, царапающую кромку льда, и о том, как это страшно, когда из черной полыньи тянется рука,— но промолчал: то, что он чувствовал сейчас, не соответствовало состоянию, в котором он прыгнул в реку. Костя не понял бы.

— Понимаешь,—сказал Степа,— если бы я стал думать, может, и не прыгнул бы.

— Правильно! Чего там думать?! Прыгнул — и готово!

— А ты не болел?

— Еще чего! — Костя довольно рассмеялся.— Я согрелся сразу: бутылку засадил из горла́. Я и тебе хотел, да не дали.

Потом пришла Надя, и Степа собрался рассказать ей, что Костя его спас, но вдруг услышал сдавленный шепот:

— Молчи!

Он осекся.

— Привет! — сказала Надя, заглядывая в комнату.— Есть будете?

Степа не ответил и посмотрел на Костю. С того слетело все оживление, он сидел злой, насупившийся и молчал. Глаза их встретились, и во взгляде его Степе почудилось что-то резкое и недоброе.

— Молчи,—снова процедил Костя.— Не хочу...

— Эй, вы! — звонко крикнула из кухни Надя.— Оглохли?!

— Ну, не буду,— сказал наконец Степа.— Не понимаю...

— Не понимаешь! — усмехнулся Костя.— Бабы...— Он махнул рукой.

Они посидели молча. Какое-то еле заметное отчуждение пролегло между ними с приходом Нади. Что-то сдвинулось вдруг в их отношениях, сместилось, и они не могли уже так легко разговаривать, как раньше.

Степа удивился, обнаружив это, и взглянул на Костю. Некоторое время они напряженно, не отрываясь, смотрели друг на друга, не в силах отвести глаза, словно оба попали в силовое поле. Казалось, вот-вот цепь замкнется и проскочит искра. Лицо у Кости было такое, будто он хотел что-то сказать, будто еще самую малость — и с языка у него слетят какие-то слова и все станет ясно.

Но цепь не замкнулась. Взгляд у Кости потух, он вздохнул и, коротко кивнув, вышел.

После его ухода на душе у Степы остался странный, неприятный осадок. В какой-то непонятной связи он подумал, что из-за своего буйного характера Костя способен на любые, самые необузданные поступки. Все он делает в упоении, и к чему его действия приводят, к хорошему или плохому,— это уж как повезет.

— Чего он ушел? — спросила Надя.— Из-за меня, что ли?

— Почему из-за тебя? Надо ему...

...Приезжал замдиректора Василевский, отец того парнишки, которого спас Степа. Но разговор у них не получился: оба чего-то стеснялись. Василевский начал было благодарить Степу, но, почувствовав, что слова фальшивы, сбился, махнул рукой и замолчал. И Степа был благодарен ему за это молчание.

Потом, когда он уехал, Степе стало казаться, что приезжал он с другой, определенной целью, но почему-то не решился сделать то, что хотел.

Примерно через неделю после этого визита Степа, проснувшись утром, почувствовал себя совершенно здоровым. Он побродил по дому, попробовал читать, полежал и наконец понял, что помирает с тоски по работе, по приятелям, что ему осточертела эта постоянная тишина и хочется шума, суеты, жизни.

«Все,— решил он,— с понедельника выхожу».

Вскоре пришла врач, молоденькая девочка-практикантка. Она смотрела на Степу с восхищением и хотела продлить ему больничный, но он хмуро потребовал, чтобы она выписала его на работу.

— У вас слабость,— робко сказала девушка.

— Нет у меня никакой слабости. Здоров я.

Она пообещала выписать его на работу с понедельника, и три дня он провел, мучаясь от безделья и не понимая, как ему удалось высидеть дома больше месяца.

В понедельник Степа пришел на работу, и ребята сразу обступили его, начались обычные беззлобные насмешки и шуточки. Все это делалось легко и искренне, и Степе было уютно, как дома.

Толстяк Гуреев, который ввалился в цех со здоровенной электродрелью на плече, весь перепачканный штукатуркой, принес новость. Подойдя вразвалку к Степе, он пихнул его в бок:

— Из-за тебя, дурака, сегодня собрание будет.

— Какое собрание? — не понял он.

— Комсомольское. Ты ж как-никак у нас теперь герой. Это надо отметить.

— А ты не врешь?

— Поди прочитай, если не веришь. На двери столовой объявление.

— А он ведь тоже... прыгал,— сказал Степа, взглянув на Костю.

— Ха! — усмехнулся Гуреев.— Он какого-то Сизова спас, а ты — сынка начальника. Понимать надо!

— Не может быть, чтобы из-за этого,— упавшим голосом произнес Степа.

— Да хватит тебе голову ему морочить! — раздраженно крикнул Костя.— Ты что, не знаешь его? Он ведь поверит!..

— Шучу, шучу,— все так же усмехаясь, сказал Гуреев.

Тем не менее настроение у Степы сразу сделалось паршивым. Не то чтобы он поверил Гурееву, но все-таки было неприятное в его намеке, и это неприятное осталось.

— Слушай, я не пойду,— сказал он Косте,— а?

— Да брось ты! — Костя хлопнул его по плечу.— Наплюй, все равно не отстанут! Ничего не поделаешь, попался. Еще и в газете пропечатают.

— Откуда ты знаешь?! — испугался Степа.

— Так заведено,— авторитетно объяснил Костя.— Рискуя жизнью, спасти человека — это тебе не шутка. Может, и медаль еще повесят.

— Ты под это дело можешь себе бесплатную путевку от профсоюза потребовать,— посоветовал Гуреев.— А что? Дадут! Отправят тебя в санаторий, будешь кофе с булочкой в постель получать. Красота! Век бы так жил! А тут — стены сверли! — Он хохотнул.— И чего я такой здоровый, прямо зло берет!

«Нет, не пойду»,— решил Степа, но почему-то после рабочего дня все-таки пошел на собрание. И когда секретарь комсомольской организации вручал ему на трибуне часы с приличествовавшей случаю гравировкой, у Степы появилось желание отказаться, но снова непонятная сила инерции помешала ему это сделать. Наоборот, он улыбнулся и поблагодарил, покорно глядя, как секретарь застегивает у него на запястье ремешок.

Секретарь был в очках с толстыми стеклами, за которыми глаза его казались добрыми и немного наивными. Время от времени он поглядывал на Степу, словно проверяя, как тот относится к происходящему. «Видишь, как славно»,— казалось, говорил его улыбчивый взгляд. У него было румяное детское лицо и плешивый затылок, и это несоответствие удивило Степу больше всего. «Вот так так,



молодой, а лысый»,— подумал он, будто впервые разглядел секретаря.

Степа повернул голову, увидел ряд довольных лиц в президиуме, показавшихся ему совершенно одинаковыми, и, пятясь, сел на свое место за длинным столом, покрытым зеленой тканью.

Потом были речи. Выступавшие говорили много, горячо и красиво, а Степа ощущал себя так, словно его перед всем залом раздели, прикололи, как букашку к белому листу бумаги, и каждый оратор с указкой в руке объяснял зрителям: «Вот здесь у Сизова его мужественное сердце, здесь — душа, там — комсомольская совесть, которая не позволила ему оставаться равнодушным; а вот здесь — та самая левая рука, которой он вытащил мальчишку».

Степе было стыдно и неловко слушать про себя хорошие слова, хотя он не сомневался, что они искренние и что люди действительно одобряют его поступок. Но почему-то, когда он встречался с некоторыми из выступавших до собрания, они ничего такого не говорили — наоборот, ему казалось, что они вроде бы даже смущаются и не знают, что сказать.

Выступил Василевский и, волнуясь, рассказал всем присутствующим, как он любит своего единственного сына и как переживал бы, в случае... Тут он запнулся. В зале было очень тихо. Когда он продолжил, в голосе его слышались слезы. Ему хлопали еще долго после того, как он сел на место и, весь красный, вытирал лицо белым носовым платком.

А Степа смотрел на него и не понимал, тот ли зто человек, который приезжал к нему и взглянул тогда так, что Степа, наверное, еще раз полез бы в воду. Тот знал, когда нужно промолчать...

В зале было душно и жарко. Некоторые из членов президиума курили и стряхивали пепел в бумажные коробочки, которые здесь же ловко мастерил из газеты замдиректора по кадрам. Курящие делали вид, что стараются курить незаметно: прятали папиросы в кулаки, пускали дым в пол и при зтом воровато, как расшалившиеся школьники, поглядывали в зал. Взрослые, серьезные люди играли с собравшимися в игру: мы делаем вид, что стесняемся, потому что вообще-то курить в президиуме нехорошо, а вы делаете вид, что не замечаете, так как понимаете, что нам охота покурить.

«Интересно, куда они денут папиросы, когда надо будет хлопать?» — подумал Степа. Но они успели докурить и выставили коробочки перед собой. Игра кончилась, и только над столом некоторое время висели, покачиваясь и расползаясь, сизые облачка дыма.

Затем на трибуну поднялся директор комбината и сказал, что событие, которое они сегодня обсуждают, не узковедомственного и даже не городского масштаба, а по крайней мере областного. И то, что герой — работник их комбината, тоже кое-что да значит, потому что все они заинтересованы в том, чтобы на комбинате было как можно больше героев. И зтот интерес не узковедомственного масштаба, потому что хотя они и патриоты своего комбината, но понимают, что их комбинат...

Степе было грустно, и под конец он совершенно перестал следить за ходом собрания. Ему вспоминалась то детская рука, царапающая кромку льда, то взгляд Василевского — там, дома; или будто со стороны он видел самого себя, неуклюже переваливающегося в своем длинном пальто через перила моста,— все зто было правдой, но удивительно не соответствовало тому, что совершалось сейчас.

Время от времени члены президиума в определенном порядке вскакивали выступать, словно незримый распорядитель вечера дергал за невидимую веревочку; им аплодировали, улыбались — словом, совершали то, что необходимо было по ходу действия. И никто ни разу не сбился, не влез не в свою очередь.

Когда отговорил последний из выступавших, Степа решил, что сейчас распорядитель отпустит всех по домам, но вдруг его самого будто что-то толкнуло. Он поднялся, подошел к трибуне и начал выговаривать слова, которых минуту назад и не было в его голове. К собственному удивлению, он тоже ни разу не сбился, речь текла гладко, и по лицам сидящих в президиуме он видел, что говорит как раз то, что нужно, что все ждали от него.

Он говорил о том, что чувствовал, когда спасал мальчика. Он говорил и понимал, что фантазирует самым бессовестным образом. Но остановиться не мог: распорядитель непрерывно теребил его: давай, давай! И он «давал», и всем нравилось.

Потом Степа решил рассказать про детскую руку в полынье, уже открыл было рот, но... замолчал. Он вспомнил вдруг, как Надя однажды в сердцах сказала ему: «Наслышалась про зту ручку, пока ты бредил!» Выходит, он и теперь бредит? Эта простая мысль совершенно сбила его с толку.

Все же надо было как-то закончить. В президиуме уже нетерпеливо ерзали. Степа сказал еще несколько фраз, ему стало вроде бы легче. Раздались аплодисменты, и он под грохот, ссутулясь, словно в спину ему строчили из пулемета, пробрался на свое место и сел. Ему продолжали хлопать, члены президиума улыбались ему, а он чувствовал, что не сказал самого главного...

2

Некоторое время все было хорошо, а потом начались огорчения. И начались они с непонятного сближения Кости с Надей. Сперва Степа не только не придал зтому никакого значения, но чем-то зто было ему даже приятно. Он не сомневался: Надя — его, настолько его, что глупо и невозможно ревновать. Он не задумывался, почему теперь получается, что его жена и Костя часто оказываются вместе, почему Надя не скрывает своей радости при виде Кости, почему тот в последнее время часто приходит к ним в гости; причем один, без жены. Его и самого тянуло к Косте, но неожиданно он обнаружил, что зта тяга не взаимна. Наоборот, она как будто даже раздражала Костю. «Не может быть,— думал Степа.— Мне кажется». Он абсолютно точно, логически доказывал себе, что все зто — только его воображение, но ничего с собой сделать не мог: легкость и простота ушли, а их место заняла угрюмая, сосущая ревность. Она-то не проходила, день ото дня делалась все острее, и в конечном итоге все для него сосредоточилось в одном вопросе: есть между ними что-то или нет? Еще — нет...

Он теперь словно жил в мире, в котором существовало всего три человека и преследовала постоянная тупая боль в груди; грудь временами словно стягивали какие-то обручи, так что трудно было вздохнуть,— и он теперь понимал, что зто болит душа. Болит настоящей физической болью, будто кто-то ударил. Это ощущение не проходило даже во сне, и он просыпался с той же ноющей болью в груди, с которой засыпал.

Ревность накатывала волнами — то отступала, то захлестывала с головой. Дома, с Надей, было еще не очень плохо, он тогда забывал про Костю и видел только свою жену, которую, несмотря ни на что, любил, может быть, даже сильнее, чем раньше, но с которой из-за недоверия становился все более чужим. Он теперь не мог обнять ее и приласкать, как бы ему этого ни хотелось; бывало, он уже поднимал руку, чтобы положить ей на плечо, но тут же отдергивал, словно обжигался. В нем мгновенно что-то вскипало, но скоро гасло, успокаивалось, и наступала обычная тоска, от которой хотелось броситься ничком на кровать, зарыть лицо в подушку и завыть по-звериному.

Это было ужасно, но не шло ни в какое сравнение с тем, когда он видел Надю вместе с Костей, смотрел на их лица и понимал: у них все хорошо, им нет до него никакого дела. Тогда не тоска приходила, а ослепляющее бешенство; все вокруг будто впрямь заливал яркий белый свет, и в этом свете легко можно было совершить что угодно — самое дикое и безобразное. И Степа сознавал, что еще немного, сущую малость — и лопнет та последняя преграда, что еще сдерживает его. Он отворачивался и поспешно уходил — куда угодно, только бы их не видеть.

Иногда он начинал убеждать себя, что все это пустяки, ничего серьезного между Надей и Костей нет; если бы что-то было, они, наоборот, постарались бы показать, что им нет дела друг до друга. Степа убеждал себя, что должен верить своей жене, но в действительности не знал, верит ей или ему только этого хочется. И снова самым важным было решить: да или нет, есть что-то или нет?

Потом этот вопрос сменился другим, еще более мучительным: что будет, если между ними это есть? Как тогда жить? «Ну что ж,— говорил себе Степа,— я обманывать себя не буду, я найду силы». И ему становилось страшно.

Так продолжалось до осени. Боль в груди не прошла, но притупилась, и временами Степа про нее даже забывал. Он все чаще твердил себе: «Ну что ж, чему быть, того не миновать».

Жизнь, казалось, прочно вошла в новую колею — безрадостную, но спокойную. И он был уже этим доволен, особенно когда вспоминал, что ему пришлось пережить. «Нет уж,— говорил он себе,— пусть лучше так». И тут же ловил себя на том, что при малейшем шансе вернуть ту, прежнюю жизнь, мучительную и беспокойную, он, очертя голову, кинется ей навстречу.

С Надей они теперь даже не ругались, как раньше,— напротив, разговаривали только спокойно и вежливо. Он ощущал неестественность такой жизни, но боялся, да и не знал, как сломать лед, хотя замечал, что Надю это тоже мучает и тяготит. Это прорывалось у нее непроизвольно во взглядах, раздраженных, порывистых движениях, а иногда он видел даже, что она тайком от него плачет. В такие моменты ему больше всего хотелось подойти к ней и сделать что-то такое, что сразу разрушило бы преграду между ними, которую они сами нагородили,— он догадывался, что сделать это очень просто, но боялся услышать «Не лезь!», «Отстань!» или тому подобное. И он сдерживал, и расхолаживал себя, и одновременно ругал, понимая, что совершает большую глупость, но не мог сломить сопротивление какого-то пугливого, озлобленного бесенка, засевшего в нем. «Ты должен сделать первый шаг»,— убеждал себя Степа. «С какой стати? Нарвешься»,— возражал бесенок.

После работы, дома, они довольно часто разговаривали о всякой ерунде, и оба понимали, что одновременно с этим незначительным трепом между ними происходит напряженный, мучительный диалог, в котором они постоянно решают один и тот же вопрос: как же все-таки жить дальше?

Однажды Надя не выдержала:

— Нет, так больше нельзя! — вырвалось у нее.

И он не нашел ничего лучшего, как спокойно ответить:

— Давай что-нибудь придумаем.

Она секунду смотрела на него, потом в сердцах бросила:

— Чурбан! — И выбежала из комнаты.

Позавчера Степа сидел после обеда у входа в корпус и беседовал со старым монтером Гурышевым. Тот покуривал папиросу и рассказывал случаи из жизни. Старик говорил неторопливо, спокойно, и речь его не мешала Степе обдумывать свои личные дела: она была как бы фоном — мягким и успокаивающим,— и на этом фоне многое начинало казаться не заслуживающей внимания ерундой.

Он, как всегда, вполуха слушал Гурышева, а сам смотрел вперед, туда, где вокруг большой клумбы с красными осенними цветами были расставлены скамейки. На одной из скамеек сидело несколько человек, в том числе и его жена рядом с Костей. До Степы то и дело долетал ее какой-то уж слишком веселый смех, будто она хотела сказать ему: «Вот тебе, дураку! Не хотел ничего изменить, когда можно было,— теперь страдай. И не думай, что мне тоже плохо,— мне прекрасно».

«Нет,— в который уже раз сказал себе Степа,— ничего между ними нету».

Под неспешную речь Гурышева он задумался, а когда очнулся, увидел, что старик смотрит туда же, куда и он, хмурится и пожевывает губами. Потом Гурышев строго взглянул на Степу, словно он был в чем-то виноват, и укоризненно покачал головой. Степе почудилось, будто он хотел что-то сказать, но раздумал.

«Значит, все это не шутки,— обреченно подумал Степа.— Значит, нехорошо...» Ему вдруг стало страшно, и захватило дыхание. Он впервые осознал необходимость что-то предпринять, что-то менять, что за него никто ничего не сделает. И никуда от этого не уйти, потому что дальше так продолжаться не может.

«Я скажу ему,— решил Степа.— Для него шуточки, а мне... Он должен понять, что это нехорошо». В тот момент ему казалось совершенно естественным подойти к Косте и попросить его прекратить. Правда, чтó прекратить — этого Степа не знал. Но главное, нужно было просто подойти и по-человечески попросить. Только бы он понял, что Степе действительно больно. Это же так ясно...

Но когда он подошел к Косте, его покинула уверенность в том, что поступает правильно. Он стоял перед Костей и молчал, а надо было говорить. Но говорить не мог: только он собирался открыть рот, как ловил себя на том, что совершенно перестает владеть своим лицом, оно у него начинало прыгать, дрожать, а из горла вырывались лишь невнятные гортанные звуки.

С минуту они стояли друг перед другом, и все это время Степа ощущал ужасное, невыносимое чувство беспомощности. Ему казалось, что жизнь его теперь целиком зависит от того, поймет Костя или не захочет понять. Поймет — и все будет хорошо, нет — тогда... Что будет «тогда», Степа не представлял.

Он стоял, понурив голову; тупая боль в груди усилилась; обручи, стягивающие его, сжались уже

до какого-то последнего предела — еще немного, и он не выдержит.

— Запомни,— услышал вдруг Степа, и тяжелая ладонь легла ему на плечо,— никогда ничего не будет у меня с твоей бабой... И не было,— помолчав, добавил Костя.

По тому, как после этих слов разом отпустили обручи и ушла боль, лицо перестало дергаться и напала вдруг противная слабость,—по всему этому, а может, и еще почему-то, Степа поверил, что Костя не врет. Он вскинул глаза, но тяжелый, недобрый взгляд потемневших, сузившихся до щелочек глаз Кости словно прижал его взгляд к полу.

— Почему? — растерянно спросил Степа.

— Почему? — Костя усмехнулся.— Знаешь,— както напряженно, с усилием начал он,—я-то, может...—он снова усмехнулся, на этот раз над самим собой.— Ты знаешь меня, так что, если честно, то...

Степа поднял голову.

— Что «то»?

— Да любит она тебя, дурень!— противным, скрипучим голосом, скривившись, как от зубной боли, сказал Костя.— И все! — Он широко рубанул воздух ладонью.— И закончили!

— А ты что же?..

— Я-то?.. Я домой пойду, к своей...

— Не хочешь, что ли?

— Ну! — угрожающе вскинулся Костя. — Не трожь! Она на сносях, понял? Если что — меня знаешь... Не все ж, как ты...

Он секунду подумал, потом сплюнул ожесточенно и ушел.

«Танька у него и правда беременная,— вспомнил вдруг Степа.— И он любит ее. Как же тогда?..»

Жену свою Костя действительно любил и часто вместо обеда бегал домой — проверить, как она себя чувствует. Но почему-то стеснялся этого и делал вид, будто жена его нисколько не волнует. Но Степа-то видел, что это не так, и не понимал, зачем нужно притворяться. Неужели стыдно любить свою собственную жену?

Еще он вспомнил, как Попов попробовал однажды подшутить над привязанностью Кости к жене. От него тогда Костю несколько человек еле оттащили. А ведь Попов вроде бы ничего особенного не сказал...

До конца дня Степа пребывал в возбужденном, радостно-приподнятом настроении. Все ему казалось хорошо, люди были сплошь добрыми, и если они делали что-то не так, то не по злобе, не с умыслом, а просто по недоразумению.

После работы все набились в душевую. Звуки голосов, смех запрыгали по ней, отскакивая от гладких кафельных стен, ее моментально заволокло паром, так что в трех шагах нельзя было узнать человека.

Рядом со Степой мылся Костя. В клубах пара двигались его широкие блестящие плечи, мускулистый торс, по которому легко перекатывались бугры мышц. Костя время от времени переступал ногами, мотал головой и отфыркивался, как конь.

Неожиданно он взглянул на Степу и подмигнул. Степа улыбнулся. Но Костя вдруг протянул руку и резко повернул кран горячей воды в Степиной кабине. Степа выскочил из-под кипятка и, поскользнувшись на гладком кафельном полу, упал на спину, нелепо задрав ноги.

Когда падает абсолютно голый человек, это смешно. «Ха-ха-ха»,— отчетливо смеялся Костя, тяжелым, пристальным взглядом смотря на Степу. «Ха-ха-ха»,— потоньше выводил Попов, время от времени поглядывая на Костю, словно проверяя, правильно ли он делает, что смеется.

Степа стоял посреди душевой и почему-то смущенно прикрывался руками.

— Пятый угол! — крикнул Попов, подскакивая к нему, и снова вопросительно посмотрел на Костю.

— Пятый угол? — задумчиво переспросил тот.— Давай.

Он вышел из-под душа и набрал полную грудь воздуха, отчего на ней рельефно обозначились мышцы. Потом вразвалку, загребая слегка ступнями с поджатыми пальцами и по-борцовски разведя руки в стороны, пошел на Попова. Тот попятился, не сводя со своего преследователя злобного, затравленного взгляда.

Степа понял, что сейчас Костя может натворить что-то такое, о чем сам потом будет жалеть,— как тогда, когда он угодил в милицию. А у него дома беременная жена, которая, зная характер мужа, и так каждый день со страхом провожает его на работу.

— Не надо,— сказал он и взял Костю за локоть. Тот молча рванулся, но Степа локоть не выпустил.

— Отлезь,— раздраженно бросил Костя.— Уйди, уйди говорю!

— Не отлезу,— упавшим голосом сказал Степа.— У тебя жена...

Костя остановился и удивленно посмотрел на него.

— Да тебе-то что за дело, дурень?

— Сам ты дурак,— легко, будто само собой выскочило у Степы.

Они еще постояли и вернулись под душ. Костя мрачно молчал. Казалось, он злится, что ему не удалось подраться.

— Ну ладно, чего ты,— улыбаясь, сказал Степа.— Подумаешь!

— Ненавижу таких,— процедил Костя.— Гнида. Убил бы его.

Они еще помолчали.

— А ты дал бы ему, если бы он тебя пихнул? — спросил вдруг Костя.

— Я? Я дал бы.

— Ты дал бы! Конфетку бы ты ему дал!

Степа посмотрел на него и подумал о том, что, в сущности, даже не знает, как Надя все это время относилась к Косте. Он не спрашивал, а она сама не говорила. Сейчас, впрочем, это было уже неважно.

3

На другой день Степа мотался на небольшой заводишко электрооборудования, где делали для комбината распределительные щиты. Там Степа осмотрел готовые щиты и половину решительно забраковал, несмотря на то, что директор завода Горбачев поил его у себя в кабинете чаем. Вообще директор был славным дядькой, хотя и пытался всучить брак.

— Ну, зачем вы меня уговариваете? — убеждал Степа, ощущая неловкость оттого, что приходилось отказывать.— Если бы они лично мне назначались, я, возможно, и взял бы. А так их вам все равно вернут, да еще со скандалом. Ну что вы, ей-богу!

Ему и правда хотелось взять эти щиты, чтобы не расстраивать Горбачева, но он понимал, что подведет этим не только себя.

— Да они хорошие, щиты-то,— безнадежным тоном говорил Горбачев.— Что контакты кое-где болтаются — так это ерунда. Они сто лет простоят.

— Да как же кое-где, когда они все болтаются? — снова начинал Степа, глядя в огорченное лицо директора.— Как же кое-где? И не простоят они сто лет. Заискрит контакт — и готово! Дуга! Охота вам, что ли? Это ведь и вам и нам неприятности.

Он уже не сомневался, что им друг друга не понять. Ореховский заводик, состоящий, впрочем, из одного цеха, работал в убыток, и Горбачеву кровь из носа надо было сдать щиты. Вид у него был такой, словно директор говорил Степе: «Все понимаю, все правильно, а щиты все-таки прими».

— Да вы исправьте их,— посоветовал Степа.— Тут дел на копейку.

— Чего их исправлять-то? — разводил руками Горбачев.— Ты погляди, щиты-то какие! Ну!

— Да бракованные! — досадливо, в сотый раз говорил Степа. И, видя, что раздражается, снова дергал болтающийся контакт. Больше всего он боялся сейчас, что может сорваться, сказать что-нибудь резкое и обидеть Горбачева.

— Ну, болтается один,— уныло говорил директор.— Да ведь это совсем неважно, мы таких щитов понаделали знаешь сколько?

— И очень плохо, что понаделали! Не знаю, как их у вас принимали, а я не могу! — сказал наконец Степа решительно.

— Не можете? — грустно переспросил директор.

— Не могу. Правда,— извиняющимся тоном повторил Степа и даже прижал руки к груди.— Не обижайтесь.

— Да чего уж... Раньше брали, теперь не берут... Ладно, исправим.

На прощание он долго не отпускал Степину руку и искательно смотрел в лицо, будто еще питая надежду, что в последний момент каким-нибудь образом все устроится.

Потом Степа снова трясся в старом автобусе по разбитому грейдеру и задумчиво смотрел в окно.

По обеим сторонам дороги тянулся бесконечный невысокий осинник. Деревья уже почти целиком оголились, и лес казался редким, просторным и каким-то нежилым. По нему свободно, как по старому брошенному дому с выбитыми стеклами, гулял ветер; гнал по земле сухие листья, раскачивал голые ветви. Ветер морщил лужи на дороге и в низком белесом небе трепал бесформенные клочья облаков.

Степа смотрел в окно и вспоминал то время, когда он и все его приятели были совсем маленькими. Тогда их город еще не разделялся на Нижний и Верхний. Был один Нижний, состоящий из обычных деревенских изб и длинных многоквартирных бараков. В единственном каменном доме размещались все административные и партийные учреждения. На нем висел выцветший красный флаг. Дом стоял на рыночной площади, посреди которой ежегодно силами общественности разбивалась клумба. К воротам рынка по утрам на тощей кляче привозили квасную цистерну. За день город ее выпивал, и на ночь она исчезала. Вместо нее оставался только конский помет.

Жизнь в городе текла однообразная, не нарушаемая никакими большими событиями. А все, что происходило в мире, казалось далеким и не очень реальным.

В городе протекала речушка Лопня, исправно снабжавшая население рыбой. И не было никакого комбината, а лишь небольшое кожевенное производство, вонюче дымившее над Нижним городом.

Берег по другую сторону реки был высокий, крутой, поросший густым кустарником. Мальчишки ловили в глубоких омутах под обрывами здоровенных лещей...

Но неожиданно понаехало множество новых людей, которые поселились в вагонах, понагнали технику, а через некоторое время, словно грибы из-под земли, полезли вверх белые корпуса будущего комбината.

Все это встряхнуло их сонный городок. Стали привозить фильмы, открылась библиотека для рабочих. А жители вдруг заговорили о том, что надо куда-то ехать, что так можно всю жизнь прожить и ничего, кроме двух вонючих берегов, не увидеть. Естественно, что планы эти касались в первую очередь детей. Казалось, кто-то взял да впрыснул изрядную дозу живительных соков, чтобы люди этого маленького, затерянного в северных лесах городка почувствовали и себя причастными к большой жизни, к огромной стройке, кипящей по всей стране.

И как-то само собой получилось, что на высоком безлюдном берегу Лопни вырос город; настоящий, современный, хоть и небольшой город со всеми атрибутами городской жизни и цивилизации — с автобусами, кинотеатром, новой школой, рестораном и яркими неоновыми фонарями. И опять само собой получилось так, что главная жизнь сосредоточилась в Верхнем городе. Многие переселились в дома с горячей водой, газом и светлыми окнами; другие, не пожелавшие расстаться с милыми сердцу огородиками, ходили в Верхний город в магазины, в кино или просто гулять. Словом, городом стал новый, Верхний город, а Нижний остался тем, чем был спокон века: большой деревней. А прошло-то от силы два десятка лет...

Степа смотрел в окно автобуса и не замечал, что улыбается.

Он вспоминал себя совсем маленьким, молодыми отца с матерью... Женив сына два года назад, они почти сразу уехали жить в деревню, к Степиной бабке — матери отца, и он остался один. То есть не один, конечно, а с Надей, но все равно стало пусто, неуютно и вроде бы даже страшновато. Незаметно, как вода в песок, ушли простота и легкость детства, и вместо них появились сложности настоящей жизни. «С чего же все началось? Как женился, что ли?» — спросил себя Степа и сразу же ярко, во всех подробностях вспомнил свою свадьбу и то, что происходило потом.

Каким же он тогда был жалким и потерянным! Он сидел рядом с Надей, машинально ел то, что оказывалось на тарелке, и со страхом ждал, когда какому-нибудь подвыпившему гостю взбредет в голову крикнуть «Горько!» и Степе придется при всех целовать свою жену.

Его раздражали гости, оскорбляло их равнодушие к тому, что пугало его и было сейчас для него важнее всего на свете. Он был один на один со своим волнением, и ему никто не мог помочь.

Когда гости разошлись, Надя ушла в Степину комнату, а он остался помогать матери убирать со стола. Он никак не мог заставить себя пойти к жене и лишь тоскливо следил, как быстро пустеет стол. «Ладно, уборщик!— сказала ему наконец мать и легонько пихнула в спину.— Иди, молодая жена ждет». И он послушно пошел.

Ему показалось, что Надя спит. Она отвернулась к стене и ровно дышала. По подушке были разбросаны ее спутанные волосы. «Ну и ладно»,— подумал Степа.

Он подошел к окну. По стеклу сбегали тоненькие ручейки мелкого осеннего дождика. Шумел ветер, раскачивая невидимые в темноте деревья. На кровати спала и посапывала женщина. Теперь каждое

утро, просыпаясь, он будет видеть ее лицо, маленькую темную родинку над верхней губой... От этой мысли ему стало не по себе. «Как же так получилось?» — в который уже раз подумал он.

Надя пошевелилась и сказала: «Ну чего ты там? Погаси свет». Он понял, что она не спала. Погасил настольную лампу и начал медленно раздеваться. Ему все было безразлично.

Он лег на спину и вытянулся, стараясь не прикасаться к ее телу. Несколько минут они лежали молча. Надя делала вид, что спит. Потом она приподнялась на локте и заглянула ему в лицо: «Тебе плохо, что ли?» Он помотал головой. «А-а-а...— протянула она разочарованно.— А зачем тогда женился? Эх, ты...» И снова отвернулась к стенке.

Он полежал еще немного, потом встал и побрел на кухню. Там сел к столу, раздвинул локтями грязную посуду и, закрыв лицо ладонями, тяжело вздохнул.

В доме стояла тишина.

Степа долго сидел и замерз, но не мог заставить себя встать и вернуться в комнату. Потом он задремал и проснулся оттого, что Надя трясла его за плечо. За окном уже серело. Она была в халате и тапочках, розовая со сна. «Ну чего ты здесь сидишь? Пойдем».—Она сонно улыбнулась и погладила его теплой мягкой ладонью по щеке.

Сон мгновенно слетел со Степы, он вскочил, словно сквозь тело пропустили электрический ток, обнял ее и прижал к себе — вялую и податливую. От нее слабо пахло духами. Ее волосы лезли ему в рот, щекотали в носу, а он прижимал ее все крепче и крепче...

«Дурачок,—прошептала Надя.— А притворялся еще...» Она снова провела ладонью по его щеке. И Степа громко, на весь спящий дом, расхохотался...

С того времени Надя из тоненькой девочки превратилась в зрелую, начинающую полнеть женщину, а он... Степа взглянул почему-то на свои ладони — широкие, огрубевшие, источенные мелкими шрамами. Вот прожил он двадцать четыре года, а много ли сделал? Даже детей не родил...

Тянулись по сторонам дороги скошенные поля, перелески, невысокие холмики — все было однообразно, уныло и ровно, ничто не задерживало взгляд.

Степа скоро задремал и проснулся только в городе. Наскоро перекусив в столовой, он отправился на комбинат.

В цехе он увидел рабочих, сгрудившихся около верстаков. На него никто не обратил внимания. Встревоженно гудели голоса.

Степа с минуту стоял у двери, пытаясь сообразить, что происходит. Потом протиснулся к верстакам. На них были навалены телогрейки, а на телогрейках лежал Костя. Глаза у него были закрыты, скулы заострились, он хрипло и часто дышал. Время от времени лицо его пересекала гримаса не то боли, не то злости, он бормотал какие-то невнятные ругательства и сжимал кулаки.

— С карниза сорвался,— тихо сказал кто-то у Степы за спиной.— На спор.

— С Поповым? — не оборачиваясь, спросил Степа.— С ним ведь?

— С ним, — ответили ему.— А ты откуда знаешь?

— Знаю,— процедил он.

Неожиданно Степа увидел, что Попов стоит напротив него и улыбается. И эта нелепая улыбка, искажавшая бледное худое лицо, и большие оттопыренные уши, и светлая челка, закрывающая лоб, показались ему такими гадкими и отвратительными, что он, не помня себя, сделал шаг вперед. Он ничего вокруг не видел, кроме этого бледного лица. «Крыса»,— с омерзением подумал Степа, и его захлестнула и понесла какая-то мутная злобная волна. Руки поднялись, обхватили, как тисками, тонкую кадыкастую шею, и ненавистное лицо со светлой челкой лихорадочно и безвольно заболталось из стороны в сторону...

Два человека с трудом развели ему руки. Красный, он стоял посреди цеха и смотрел, как Попов, пошатываясь, уходит в угол, садится на стул и, болезненно морщась, трет шею.

Степа растерянно посмотрел на рабочих. «Что же это такое? Что случилось? Как это я так?» — словно спрашивал он. Мутная волна схлынула. В голове шумело, как с похмелья, и была отвратительная сухость во рту. Он не знал, куда девать свои руки, которыми только что душил человека. Ему мерещилось, что все с отвращением и ужасом смотрят на эти тяжелые, набрякшие кисти, как на орудие убийства. Он незаметно вытер руки о штаны и сунул в карманы.

— Ты что? Чуть совсем не придушил,— сказал сзади тот же знакомый голос.

— Ничего, отойдет! — ответил другой, веселый голос.

Степу вроде никто не осуждал, несмотря на то, что он, взрослый, здоровый мужик, на глазах у всех едва не придушил хилого парнишку.

Степе было мучительно стыдно, хотелось уйти куда-нибудь, чтобы его никто не видел, или притвориться маленьким и слабым — гораздо слабее и меньше Попова.

Костя пошевелил плечами, пытаясь приподняться, но у него ничего не получилось, он громко застонал и открыл глаза. Взгляд их, остановившись на Степе, сделался осмысленным.

— Поди сюда,— внятно произнес Костя. Степа подошел.— Погляди там, чтоб Танька... ну, не побежала сюда. Мне-то что, я завтра оклемаюсь, а ей — сам знаешь...

— Ладно, ладно,— зашептал Степа, наклоняясь к нему.— А что сказать-то?

— Ну, скажи что-нибудь. Придумай.

— Она мне не поверит,— с сомнением сказал Степа.

— Поверит, она тебя любит.— Костя криво усмехнулся.— Она всех таких любит... блаженных.

— Сам ты блаженный. Не думаешь ни о чем.

— Только не занудничай,— строго предупредил его Костя.

Степа замолчал, с жалостью глядя на его осунувшееся, посеревшее лицо.

— Сизов! К начальнику цеха! — раздался из-за двери громкий женский голос.

— Иду,— тихо ответил Степа.

У двери он обернулся. Костя глядел на него. Степа кивнул и вышел в коридор.

...Начальник цеха Мигунов, серьезный, худощавый человек с гладко прилизанными на пробор редкими волосами, хранившими следы расчески, сидел за столом, а справа от него в кресле расположился Извеков — главный энергетик комбината. Они о чем-то переговаривались до прихода Степы, и у них был вид людей, которые хорошо понимают друг друга; понимают даже больше того, что произносится вслух.

С приходом Степы они замолчали, какое-то время с любопытством рассматривали его, словно только сейчас узнали о нем что-то новое и неожиданное.

В кабинете было тихо, сюда почти не долетали звуки, и эта тишина после всего, что произошло, показалась Степе странной.

— Садитесь, Сизов,— негромко предложил Извеков и посмотрел на начальника цеха, перепоручая ему разговор.

— Значит, так, Сизов,— без всякого выражения сказал тот, вертя в тонких, сухих пальцах карандаш.— Поедете в Москву. В командировку,— строже добавил он, видно, для того, чтобы Степа не подумал, будто его посылают в столицу развлечься на государственные денежки.— Насчет этих самых панелей, чтоб им!.. Не высылают, хоть ты лоб расшиби! Ясно?

— Ясно,— подтвердил Степа.

— Теперь второе,— продолжал начальник и осторожно поставил карандаш на попа.

У Степы в этот момент появилось непреодолимое желание дунуть, чтобы карандаш упал. Впрочем, он упал сам, а начальник цеха внимательно посмотрел на Степу, как бы обвиняя его в этой маленькой диверсии.

— Второе вот что: нам должны прислать уникальный станок.— Он значительно поднял палец вверх, предупреждая, что к сообщению нужно подойти с предельной серьезностью и ответственностью.— Японский кроильный автомат. Представляете? Автомат!

Степе не терпелось уйти, и он маялся в широком кожаном кресле. «Какое мне дело до этого автомата?! — раздраженно думал он.— Там Костя расшибся, а они — автомат какой-то!»

— Автоматизировать раскрой кож необычайно сложно,— услышал Степа,— поскольку сырье нестандартное. Впрочем, вы это и сами знаете. Вы слушаете, Сизов?

— Да, да,— поспешно откликнулся он.

— Так вот,—продолжал начальник. — А японцы что-то придумали. Выработка, говорят, фантастическая! — Он повернулся к главному энергетику.

— Надо думать,— согласился тот.

— Одним словом, Сизов, вы привезете этот автомат. Чтобы он целехонький был! Миллион долларов! Головой отвечаете.

— Вот как мы голову вашу ценим,— улыбнулся Извеков.

— Ну, станок-то подороже,— рассеянно и искренне отозвался Степа, думая в это время совершенно о другом.

— Не скромничайте. Голова устроена посложнее станка.

— Сапоги-то из нее не сошьешь,— усмехнулся начальник цеха.

— Но и без нее тоже! — живо откликнулся Извеков. — Послушайте, Сизов, а что у вас там с Шибановым приключилось?

— Да разбился он малость,— хмуро сказал Степа, глядя в пол.— С карниза в цеху сорвался.

— А чего его на карниз потянуло?

— На спор он.

— Вот умник! — не то восхищаясь, не то сердясь, сказал главный энергетик.— У него жена, можно сказать, вот-вот родить должна, а он ей такие сюрпризы!

— От эгоизма это, Андрей,— сухо сказал начальник цеха.— Мое, дескать, здоровье, что хочу с ним, то и делаю. А если калекой останется, да ребенок еще будет... Вот жене-то позавидуешь! — Он раздраженно отбросил карандаш.

— Верно, конечно,— задумчиво сказал Извеков.— Все это верно, но вместе с тем и не очень.

Степа сидел и пытался вникнуть в существо их спора, но не мог. Он вспоминал взгляд Кости, который тот бросил на него в последний момент, и не понимал, что заставляет его сидеть. Ему нужно быть в другом месте, где у него действительно есть дело.

Он резко поднялся:

— Извините, мне надо идти.

Его отпустили, и он выскочил за дверь.

Извеков и начальник цеха проводили Степу удивленными, слегка ироническими взглядами. Оба они, отдавая должное Степиной положительности, как бы признавали некоторую его неполноценность, сами, впрочем, того не желая.

— И ведь хороший парень,— сказал начальник цеха,— а какой-то занудливый... Здоровый, сильный, лицо — кровь с молоком, а чего-то нет. Верно?

— Да...— протянул Извеков.— Чего-то не хватает, это ты прав. А может, в молодости и надо такое...— Он щелкнул пальцами.— Вроде как по карнизам походить?

— Я этой лихости не признаю. И Шибанов этот... Пусть бы хоть с толком рисковал.

— Жене-то, положим, все равно, с толком он разобьется или без толка.

— А ему?

— Да и с толком разбиваться — это, прости, тупость, дикость какая-то! — загорячился главный энергетик.— Вон в газетах было: кто-то там спас сто штук коров из горящего хлева, а сам сгорел!..

— Значит, вообще гибнуть глупо?

— Конечно, глупо! Жить надо!

— Да я не об этом,— поморщился начальник цеха и пригладил свои и без того гладкие волосы.— Ну, есть же ситуации. когда такой риск оправдан со всех сторон.

— Есть, конечно, ситуации. Я вполне допускаю, что и с коровами теми было по-другому. Шел человек, видит — горит хлев. Коровы мычат, бегают, мучаются, и все такое. Жалко ведь — живые существа, братья меньшие. Ну, он и кинулся... Это я понимаю. Человек мимо такого равнодушно пройти не может.

— Эх, и голова у тебя, Андрюша,— вздохнул начальник цеха.— Ты как мальчик: человек, человек! Человек — это, конечно, как говорится, венец творения, но ты имеешь дело с конкретными людьми, с этим самым пресловутым человеческим материалом, от которого до венца твоего сто лет скачи — не доскачешь. Будь он хоть десять раз венец, но он обязан работать и приносить конкретную практическую пользу. В противном случае он не венец, а трутень. А о душе ихней гениальной пускай поэты пишут.

— Да это ошибка, пойми! Если они не винтиками себя осознают, а людьми, все наши проблемы исчезнут! А то я вчера видел: идут двое, тащат по мешку. Оглянулись, меня не увидели — и мешки свалили прямо в лужу. Я подошел, а в них — образцы модельной обуви! Они сами ее только что сделали своими руками и бросают, чтобы она сгнила через неделю! Говорят, девать некуда, склад забит. А на самом деле им тащить лень! Это что?! А ты говоришь... Нам людей воспитать надо, а потом уж все остальное. Знаешь, как работать будет легко? Ох, Витька...

— Идеалист несчастный,— посмеиваясь, сказал начальник цеха.— Пока мы их воспитывать будем, все склады опустеют...

— Да пусть лучше они пустые стоят, чем так, как сейчас... Эта обувь если не в луже, то в магазинах сгниет!

— Это — дело другое, это правильно. И все-таки делать можно только одно: работать. Дали тебе участок, где ты необходим, вот и исполняй, так сказать, по мере сил. А о другом за нас с тобой

подумают. Действовать же по принципу: все так неправильно, что даже работать не хочется,— это никуда не годится.

— Это ясно...—согласился Извеков.

Они замолчали.

...Степа тем временем выскочил из корпуса и, решив срезать угол, побежал к проходной не по основной дороге, а по узкому коридору между двух корпусов.

Здесь даже в самые жаркие дни было прохладно и сыро, от глухих стен пахло гнилью и плесенью. На земле валялась ржавая арматура, похожая на скелеты давно истлевших животных.

Когда Степа выскочил на открытое место, то увидел, что разминулся с Таней, которая мелкими торопливыми шажками шла по основной дороге к корпусу. Он что-то закричал ей, замахал руками, она не услышала и продолжала идти, глядя под ноги, словно боясь упасть. Степа рванулся и догнал ее в тот момент, когда она уже взялась за ручку двери.

— Погоди, погоди,— задыхаясь, говорил он, не давая ей открыть дверь.— Не ходи, с ним все нормально... Не надо, тебе нельзя по лестнице.

Она испуганно смотрела на него, но не узнавала и не понимала, что он ей говорит, и лишь досадовала на задержку.

Сухие, потрескавшиеся губы ее были полуоткрыты, она часто дышала, а изможденное личико, уже подурневшее, с какой-то нездоровой желтизной, выражало такое детское страдание, что Степе сдавило горло. Он снова залепетал что-то несвязное и осторожно взял ее руку, словно боялся повредить эти тоненькие белые пальцы. «Какая маленькая, совсем девочка,— мучаясь, подумал он.— Разве можно таким...»

Он был вызывающе здоровым и сильным рядом с ней, ему виделась в этом некая ужасная несправедливость: зачем эта сила, если она никому не нужна, если он даже этой страдающей девчонке ничем не может помочь?

Она вдруг узнала его. Губы у нее дрогнули, на лице появилось подобие улыбки, от которой Степе стало не по себе.

— Я стирала...— жалобно сказала она.— Мне сказали...

Неожиданно она тихонько охнула, закусила губу и, взявшись за живот, опустилась на ступени. Степа сел рядом.

— Болит? — осторожно спросил он.— Пойдем, я тебя домой отведу. Ты идти-то можешь?

— А туда? — обиженно, как ребенок, спросила она.

— Нет, нет, туда потом,— быстро сказал он.— Его там нет. Пойдем, я тебя провожу.

Таня покорно, но, очевидно, не потому, что он ее убедил, а потому, что у нее не было сил спорить, встала, опершись на его плечо, и от этого прикосновения по телу у него пробежал озноб.

«Хоть бы взять ее да отнести,—подумал Степа.— Какая глупость, что нельзя!»

Он медленно вел ее по дороге, крепко держа за руку, то и дело непроизвольно поглядывая на ее уродливый, горой вздувшийся живот, и не мог подавить отвращение, брезгливость и какой-то темный страх. «Ужасно, ужасно,— думал Степа, стараясь не смотреть на этот живот.— И уродливо, и боль какая... Зачем такие мучения?»

Уже совсем близко от проходной он вдруг услышал молодой веселый женский голос:

— Эй, тихоня! За чужими женами бегаешь?!

Этот звонкий возглас словно ударил его; даже не смысл слов, а скорее сам голос, нарушивший трагический и несколько торжественный строй его мыслей. Он отпустил Таню, повернулся и, чувствуя, что не существует на свете таких проклятий, какие он хотел бы обрушить на голову той женщины, потряс только кулаками и, весь красный от бешенства, выдавил из себя:

— Ты!.. Дура!..

И в этот момент понял, что перед ним стоит его жена. Стоит и улыбается красивой, но какой-то застывшей улыбкой.

Он привел Таню домой, а сам побрел вдоль реки, подкидывая ногой попадающиеся на дороге камешки и совершенно не думая, куда и зачем идет.

Перед ним снова встала вполне реальная возможность того, что они не помирятся,— и не потому, что кто-то из них здорово обижен, а просто потому, что помириться невозможно, что они разные люди; и как бы они ни хотели жить хорошо, ничего не получится, и поэтому надо что-то решать. Он испугался, когда ему пришло в голову, что он обманывался два с половиной года, как страус, закрывая глаза на правду; что он все это время из кожи лез, пытаясь сделать невозможное, пытаясь устроить то, что устроить было нельзя по каким-то не зависящим ни от него, ни от нее обстоятельствам; что есть некие таинственные законы, по которым одни люди подходят друг другу, другие не подходят, и ничего с этим не сделаешь. И ее штучки с Костей — тоже от этого, оттого, что Степа и она не близкие, не муж и жена, а чужие. Его ужаснула даже не сама мысль о том, что им с Надей, возможно, придется расстаться, а то, что он жил с ней, не подозревая об этих законах.

Он не заметил, что город кончился. Река осталась в стороне. Вдоль дороги тянулась бугристая, кочковатая, грязно-желтого цвета стерня.

Над стерней вдалеке вились черные птахи — вероятно, отыскивали в земле червяков, козявок или другую мелкую живность,— над ними, высоко в чистом осеннем небе, висел ястреб. Время от времени он стремительно и круто падал вниз, потом снова несколькими мощными плавными взмахами изогнутых крыльев набирал высоту, а Степа, задрав голову, следил за ним, любуясь его полетом.

Было совсем тихо, лишь стрекотали невидимые кузнечики, да изредка с реки доносился плеск не то играющей крупной рыбы, не то весла. За полем синел лес, и каждое дерево в нем было вырезано резко и четко. Справа от леса столбами упирались в небо дымы изб невидимой деревни. «Чего они печи топят? — подумал Степа.— Тепло ведь. Может, хлеб пекут? Нет, за хлебом они к нам ездят... Как глупо! — Он усмехнулся.— Из деревни в город — за хлебом».

В воздухе носились сладкие пряные запахи скошенных цветов и травы; кучки их, еще не успевшие превратиться в сено, но уже побуревшие, лежали по сторонам дороги. Степа вздохнул и побрел дальше, поддавшись очарованию тихого, ясного вечера и словно растворившись в нем.

Постепенно и незаметно в нем совершился полный переворот: тяжелое, гнетущее настроение ушло, и на душе было так же ясно и спокойно, как в этом прозрачном, тихом воздухе. И то, что раньше вызывало отчаяние и казалось непоправимым, теперь стало просто семейной неурядицей. «Да и что она такого сказала, если разобраться? — подумал он.— Она ведь не могла знать, что происходило во мне. Глупо и требовать».

Начинало смеркаться. Воздух, оставаясь прозрачным и чистым, уже едва уловимо серел. Кузнечики



смолкли, и только один, неугомонный, изредка запускал в тишину свою шелестящую трель. Черные птицы, вившиеся над стерней, тоже исчезли.

«Она хорошая, добрая,— решил вдруг Степа.— Она поймет. Надо только объяснить».

Он быстро пошел обратно. Чувство, которое появилось и окрепло в нем, было такое ясное и простое, что у него не возникало потребности оформлять его словами. И когда он спросил себя, что же все-таки скажет Наде, то растерялся: сказать-то как будто и нечего. В голову лезли дурацкие, стандартные слова. Будто кто-то со сцены читал длинный красивый монолог.

Он немного постоял, но, так и не сумев ничего придумать, снова заторопился домой. Главное для него было сейчас — увидеть Надю. Тогда, ему представлялось, все сразу встанет на свои места.

Нади дома не было. Негромко тикал будильник на столе, да ветер пошевеливал тюлевую занавеску.

Степа побродил по дому, выпил воды на кухне, смахнул со стола несуществующие крошки... Без Нади дом казался холодным и неживым. Ему вдруг почудилось — она ушла и больше никогда не придет. Обиделась, что он обозвал ее, и ушла. И он навсегда остался один в этом большом пустом доме.

«Нет, не может быть,— пробормотал он.— Не может такого быть, чтобы сразу... Так не делают... А как делают? Постепенно, что ли?»

Он осмотрелся. Все было по-прежнему на своих местах, и постоянность и неизменность обстановки при отсутствии Нади были нелепицей, абсурдом, издевательством. Ему захотелось разметать, разнести все вокруг, чтобы эта дурацкая, никому не нужная внешняя упорядоченность быта пришла в соответствие с тем хаосом, который вдруг поднялся у него в душе.

Но опять что-то удержало его, и он даже огорчился, поняв — скорее, впрочем, почувствовав,— что здравый смысл будет постоянно мешать ему делать то, что хочется.

Она пришла довольно поздно — так по крайней мере ему показалось,— когда уже совсем стемнело. В коридоре на секунду замешкалась, и он неловко попытался ее обнять.

— Погоди, погоди,— недовольно сказала Надя, отстраняясь.— Пойти сготовить чего-нибудь? — Она говорила, скорее, сама с собой.— Ты ел?

— Нет, тебя ждал,— отчего-то оробев, тихо сказал Степа.

— Ну, ладно.

Она взяла с пола тяжелую сумку с продуктами и прошла на кухню. Щелкнул выключатель, и на пол в коридоре легла узкая желтая полоска света. А немного погодя из кухни послышалось негромкое пение.

Он вошел в кухню, остановился у нее за спиной. Надя не шевелилась.

Степа неожиданно наклонился и ткнулся лицом ей в шею — туда, где кончались волосы и темнел мягкий, нежный пух.

Несколько секунд они стояли так — напряженно и неподвижно. Каждый боялся пошевелиться и заговорить, чтобы не разрушить то удивительное, не выразимое никакими словами чувство, которое сразу каким-то непонятным образом сделало их близкими и родными людьми.

В кухне было жарко и душно; пахло подгоревшим маслом.

За окном шумел ветер. Ему захотелось обнять ее, ему мало было того кусочка ее тела, который он ощущал лицом. Он выпрямился. Надя посмотрела на него долгим, пристальным взглядом. Потом вдруг взгляд смягчился, глаза у нее влажно заблестели, она подняла руки и крепко обхватила его за шею; прижалась, откинув назад голову и закрыв глаза.

Лицо у нее стало расслабленным, и на нем появилось выражение покорности, даже уголки губ страдальчески опустились. «Делай со мной, что хочешь»,— словно говорила она.

У него ослабели ноги, кружилась голова, и он вдруг увидел, что лицо ее как-то расплывается, теряет резкость; и предметы вокруг пришли в движение, поплыли...

Он пошатнулся.

— Никогда ты меня не обнимешь, не приласкаешь,— грустно сказала Надя, трогая губами его подбородок.

Степа хотел сказать, что он в этом не виноват, что он-то как раз не переставал бы ее обнимать, но вот она...

Однако сказать это сейчас, когда ее влажные губы словно что-то искали у него на шее, когда собственное сердце колотилось так, что он слышал его стук,— в такой момент он не мог ни в чем ее упрекнуть.

— Ладно, давай ужинать и спать,— недовольным тоном сказала Надя, будто сердясь, что такие пустяки им мешают.

...Лежа рядом с женой в постели и слыша ее частое напряженное дыхание, Степа никак не мог себя заставить повернуться к ней. Что-то не давало ему это сделать, не пускало.

— Да обними же меня наконец! — раздраженно сказала Надя и сама, взяв его за плечи, повернула к себе.

Последнее, что он успел заметить, было мутное белое пятно света от фонаря, раскачивающееся в черном окне.

...Потом Степа долго лежал на спине, и ему казалось, что он о чем-то думает.

Но то, о чем он думал, ему никак не удавалось выразить словами — как только он пытался это сделать, мысли разбегались и в голове начинался сумбур.

— Надь, а ты любишь меня? — спросил он вдруг.

Она приподнялась на локте, посмотрела на него и негромко рассмеялась.

— Дурачок, это ж мы, бабы, должны у вашего брата спрашивать.

Этот ответ и в особенности ее довольный смех покоробили Степу. Ему стало обидно, что теперь не вернуть тех минут, когда у него кружилась голова.

Он снова посмотрел в окно. Все так же шумел ветер, все так же болталось в черноте мутное белое облачко. «Ничего не изменилось,— словно говорило оно.— Ничего не произошло за то время, что ты не глядел на меня. Как было, так все и осталось».

Фонарь качался за окном, и комната то озарялась бледным светом, то погружалась в темноту. По стенам и потолку бесшумно носились тени. Надя спала у него на руке и ровно дышала. Растрепанные волосы закрывали ей лицо, она по-детски шевелила губами.

Он выпростал свободную руку из-под одеяла и легко погладил ее по щеке.

Она нахмурилась во сне, словно сердясь, что он не дал ей дошептать до конца, и перевернулась на другой бок.

— Чего тебе надо, дураку? — спросил себя Степа вслух.— Чего еще?

4

Утром он проснулся до будильника. Осторожно спустил ноги с кровати, не глядя нащупал тапочки и, косясь на спящую жену, вышел из комнаты, прихватив с собой одежду. Надя работала во вторую смену, и он не хотел ее будить. На кухне оделся и поставил чайник, потом подошел к окну и в задумчивости забарабанил пальцем по подоконнику.

Уже совсем рассвело, но за окном было все как-то серо и уныло. Степа распахнул окно, и в кухню полился свежий, холодный воздух с запахами сырости, дождя, земли. Степа перегнулся через подоконник и с наслаждением задышал полной грудью. Он долго лежал так на животе, пока не замерз. Потом сильным, упругим движением откинул тело назад и встал на ноги. «Как хорошо,— пробормотал он.— Ах ты, как здорово»,— и энергично потер озябшие руки.

Степа заварил чай и поискал, чего бы поесть. На глаза попался большой соленый огурец, и Степа с хрустом, обливаясь рассолом, сжевал его с ломтем черного хлеба. Потом запил чаем и взглянул на часы. Было четверть восьмого.

Он тихо зашел в комнату, где спала Надя. В лицо ему ударил теплый, застоявшийся воздух. Степа подошел к окну и открыл форточку. Надя пошевелилась.

— Я тебе форточку открыл,— шепотом сказал он.

— Угу,— сквозь сон пробормотала она.— Закрой. Заморозить меня хочешь?

— Не замерзнешь! — засмеялся Степа.— Я тебя укрою.

Он накрыл ее вторым одеялом и подоткнул со всех сторон.

— Хорошо,— сказала Надя, не открывая глаз, и улыбнулась.

Степе не хотелось уходить от жены, он с удовольствием забрался бы обратно под одеяло, на свое, еще не остывшее место. Но он уже быстро натягивал пиджак, путаясь в рукавах и пританцовывая от нетерпения.

И стоило выйти из дома, как сразу, не успел еще Степа закрыть калитку, мысли его совершили скачок. Вспомнил, что Костя расшибся, и неизвестно, насколько серьезно; вспомнил, что у него произошло с Поповым... И в голову полезли все те дела и заботы, которые ему, как сменному мастеру, надо было решить... Прежде всего нужно будет сходить проверить, как с прокладкой осветительной сети в девятом, недавно выстроенном цехе. Работают там, правда, Лебеденко с Гуреевым, у обоих пятые разряды, но именно поэтому могут напортачить. «Надо будет послать их собирать панели,— озабоченно подумал Степа.— Стены-то долбить каждый может, а они как-никак опытные монтеры. Конечно, им обидно».

Степа легко, не чувствуя подъема, шел в гору к комбинату. Ноги будто сами несли его.

«Нужно перетаскать эту проклятую арматуру,— припомнил он.— Лежит, ржавеет... Но куда же ее деть? В барак? Надо, черт возьми, убрать оттуда канистры с соляркой! Или хоть огнетушители повесить. Но кого же послать в девятый? Попова? Нет, Попова нельзя... Ах, как нехорошо получилось! А почему, собственно, нельзя?! Нужно, и все тут! И пускай думают, что хотят. И Васина пошлю. Нет, Васин болеет... Интересно, выйдет Костя на работу? Попов, конечно, скотина, наверняка спровоцировал. Но и Костя хорош... Осень...— с удовольствием вдруг подумал Степа.— Еще недели две — и морозы. Надо успеть хоть на рыбалку сходить. А там нитку потянем».

«Ниткой» назывался свинцовый кабель толщиной в руку. День прокладки кабеля считался авральным: весь электроцех — не только рабочие, но и бригадиры и мастера — выходили на улицу, чтобы на своих плечах протащить, растянуть и уложить в траншею пятисотметровую «нитку», каждый метр которой весил почти шестьдесят килограммов.

Степа любил эту изнурительную, но веселую работу, после которой долго и приятно ныло уставшее тело. Он любил это общее предельное напряжение сил, когда исчезали вдруг между людьми все сложности и перегородки, все становилось просто и ясно. Он знал, что, когда они потащат «нитку», на плечи им ляжет такая тяжесть, что кости затрещат, но не пугался этого; наоборот, как всякого здорового, сильного человека, его притягивала и волновала возможность выложиться без остатка.

Он вспомнил, как они тащили «нитку» два года назад. Почти все на двадцатиградусном морозе поскидывали телогрейки и остались в комбинезонах. И все-таки от них валил пар, как от лошадей! Лица у всех были красны, всем было весело и хорошо.

Когда они тащили «нитку», Костя оказался позади Попова и время от времени поддавал ему ногой пониже спины и приговаривал: «Давай быстрее, не сачкуй!» А Попов, не оборачиваясь, козлиным голосом кричал: «Ну, ладно тебе! Ты! Щас схватишь!»

И все смеялись. И Костя тоже смеялся, и сам Попов. А как сейчас все нехорошо получилось. Будто кто-то взял да нарочно напакостил.

Они проложили кабель. А потом откуда-то появилась водка и весело забулькала по стаканам. И Степа, не большой охотник до выпивки, с удовольствием выпил целый стакан, который не опьянил его, а только добавил бодрости. Колбасу пришлось рубить топором, потому что кто-то положил ее вместе с водкой в сугроб. Колбаса была необыкновенно вкусной, несмотря на то, что хрустела на зубах, как сухарь. Все начали резвиться, словно дети,— толкались, кидали друг друга в снег, боролись. Потом Попов, а за ним еще несколько человек стали наскакивать на Костю, пытаясь его свалить. Но у них ничего не получалось: Костя расшвыривал их, они так и летели от него в стороны. А он, весь красный, тяжело дыша, стоял, расставив ноги, и кричал: «Ну, кто еще? Давай!»

Степа смотрел, смотрел, потом что-то взыграло в нем — аж дух захватило,— он разбежался издалека и, как бомба, налетел на Костю. Тот увидел его только в последний момент, не приготовился, и они вместе, с головой нырнули в высокий сугроб. Потом долго под общий хохот выкарабкивались...

«Как было хорошо,— грустно подумал Степа.— Что же делать? Посылать Попова долбить стены или нет?» Мало того, что вчера накинулся, сегодня посылает на трудоемкую, малооплачиваемую и вредную работу. «Ладно, посмотрим»,— решил Степа и вспомнил, что сегодня еще, помимо всех дел, ему нужно оформить командировку.

В проходной он прошел, не останавливаясь, и старик вахтер, знавший его, конечно, в лицо, не преминул все же проворчать вдогонку:

— Все спешите, молодежь... А почем я знаю, может, ты шпион какой? Нет, ты уж будь любезен...

Степа вдруг надумал вернуться и поговорить с ним.

— Что ж, вы меня разве не знаете?

— Это неважно! — строго сказал старик и погладил с достоинством густые вислые усы.— Я никого

знать не обязан, потому как я работаю согласно пропусков. Это моя работа такая. Понял? А ты тоже не шали, тебе пропуск из кармана вынуть не тяжело,— он обиженно посопел и неожиданно ожесточился: — И в развернутом виде!

— Каждый будет разворачивать — у вас тут очередь выстроится,— весело сказал Степа.— Работать некому будет.

— Пускай строится.— Вахтер помолчал, потом пояснил, как самую очевидную вещь:— Это до меня не касается. И ты выполняй, не будь таким. Ты парень-то хороший,— мягче добавил он, решив, видимо, что Степа осознал свой проступок.

Пока они беседовали, через проходную прошло человек двадцать, и ни у одного из них старик, увлеченный разговором, пропуск не потребовал. Но когда Степа собрался уйти, он взял его за локоть, и этот жест представителя власти сразу сделал его официальным.

— Предъявите пропуск,— строго потребовал он, поднося ко рту свисток. Степа безропотно показал пропуск в развернутом виде.— Теперь иди.

«Вот работка! — раздраженно думал Степа, широко шагая по дороге от проходной.— Ни работа такая никому не нужна, ни старик этот!»

И тут вспомнил: когда они тащили «нитку», этот же старик вахтер сварил на своей плитке кофе и в термосе притащил им. У Степы в памяти осталось, как они принимали из его трясущихся рук крышку от термоса, в которую старик наливал кофе. «Пейте, пейте, ребятки,— приговаривал он.— Мороз-то какой, разве можно...» «А как же вы свой пост оставили?» — спросил кто-то. «Да пусть ходят!— махнул рукой старик.— Вам погреться тоже надо».

«Вот и разберись,— подумал Степа, взлетая на третий этаж.— Выходит, нужен старик, что ли?»

Степа вошел в цех. Рабочие уже собрались и сидели на верстаках, на стульях и на ящиках. Плавали облака сизого дыма, и слышался негромкий говор. «Пусть покурят»,— подумал Степа, зная, что для ребят покурить перед началом рабочего дня все равно что присесть на дорогу.

За своим столом Степа мучительно раздумывал, посылать все же Попова долбить стены или нет...

Постепенно все докурили и начали с ленцой подтягиваться к Степиному столу.

— Так, ну, кто куда? — громко спросил Степа.

— Ты нас в девятый больше не посылай,— сказал толстый небритый Гуреев.— Нерационально используешь рабочую силу.

— Ага,— солидно подтвердил Лебеденко, такой же плотный, заросший густым черным волосом, как и его напарник.— Ты вон его пошли.— Он указал на Попова.

Степа увидел, как тот хотел что-то сказать, уже раскрыл было рот, но вдруг испуганно съежился и отошел в сторону.

— Ты, знаешь, что?! — неожиданно зло сказал Степа.— Ты мне не указывай, кого куда посылать! Работали в девятом и работайте!

— Смотри, тебе, конечно, виднее.—Гуреев добродушно усмехнулся и пихнул в бок напарника.— Пошли, Лебедь!

Степе сразу стало стыдно за свой срыв: к тому же он понимал, что поступил действительно нерационально.

— Давай иди контакты зачищай у щитов! — приказал он Попову.— А после обеда арматуру перетаскаешь в барак. Там не очень много,— прибавил он, понимая, что арматуры как раз для одного многовато.

— Да я перетаскаю, ничего! — бодро ответил Попов.

— Ладно, посмотрим,— буркнул Степа. Меньше всего ему сейчас хотелось, чтобы Попов испытывал к нему благодарность.

Постепенно все разошлись, и Степа остался один. Перебрал какие-то бумажки на столе, подумал с минуту, потом решительно встал и отправился к начальнику цеха.

Тот, увидев Степу, отодвинул лежащий перед ним лист бумаги.

— Заходи, Сизов. Что скажешь?

Степа опустился в кресло.

— А я вот чего: я в Орехово-то ездил, а рассказать вам забыл.

— А! Ну-ну! — оживился начальник.

— В общем, так, Виктор Степанович,— твердо сказал Степа.— Половину щитов я забраковал.

— Что так?

— Да все на соплях! Изоляторы болтаются, клеммы тоже. В общем, не щиты, а так...— Он махнул рукой.

— Вот халтурщики, черт их дери! — рассердился начальник.— Месяц у них был, больше даже! А нам щиты нужны — сам знаешь как! Рухлядь стоит. На них такие потери, что...

— Я пока поставил Попова зачищать старые...

— Это временные меры.

— Ясное дело.

— Ну-ка, я сейчас позвоню им.— Начальник резко снял трубку и набрал номер.— Горбачева мне! — закричал он.— Горбачев, это ты?! Мигунов беспокоит, с «Северного». Как там щиты наши? Знаю, я его посылал... Что?! Не меньше нас с тобой! Вот так! Да... Да...— нетерпеливо говорил он и вдруг снова закричал: — Болтаются?! А у нас, знаешь, какое напряжение?! На подстанции до шестисот вольт! Из-за твоих контактов у нас щиты погорят! Да хорошо, если только щиты! Дуга, понимаешь, дуга! Знаешь, что это такое? А если проходил, то уж будь добр... Что? Кто у вас брал?! Мы брали?! Ах не мы? Ну, вот они пускай и берут! Срок тебе — неделя,— сказал он жестко.— Желаю успеха.— И повесил трубку.— Вот портачи! — Он саркастически усмехнулся и пригладил редкие волосы.— Думаешь, они исправят их? Посадят на эпоксидку — и привет! Поедешь — обрати внимание. У нас «японцу» этому, которого ты повезешь, щит нужен. А они нам — пожароопасные! Видишь, как получается? Из одного кармана в другой государственные денежки перекладываем. Не думают, что случись у нас авария,— весь их завод с потрохами продашь, а убытков не покроешь! Им же наплевать, им только свою малюсенькую выгоду соблюсти! Вот ведь психология куриная! — Он помолчал.— Ты в Москве-то бывал?

— Давно очень.— Степа улыбнулся и вдруг вспомнил то, что все время хотел выяснить.— А Шибанова вчера в больницу отвезли, не знаете?

— Отвезли на всякий случай, хотя он и брыкался.

...В закутке коридора Степа увидел Попова, который старательно надраивал шкуркой медные контакты распределительных щитов. Степа подошел и остановился сзади. Попов, делая вид, что не замечает его, продолжал работать.

«Старается»,— подумал Степа и заметил, что Попов зачищает только главные контакты и забывает зачищать боковые. Ему не хотелось поправлять его, но он все же бросил как бы между прочим:

— Эти тоже зачищай. — И ткнул пальцем. — Видишь, они зеленые все.

Степа вышел на улицу и направился к девятому корпусу. Надо было поговорить с Гуреевым и Лебеденко. Поднявшись на третий этаж, он услышал негромкий сипло별ватый голос Гуреева:

— Лебедь, постучи молоточком.

— Обожди, дай докурить-то,— отозвался Лебеденко.— И так вон сколько продолбили.

Степа вошел в помещение будущего цеха. На полу еще валялся битый кирпич, куски цемента и алебастра; лежали ржавые трубы, мотки кабеля, а в углу стоял сварочный аппарат, от которого тянулись по полу длинные черные щупальца проводов; рядом были разбросаны электроды.

Лебеденко с Гуреевым покуривали, сидя на полу по-турецки. Они действительно продолбили уже довольно много, но борозда была неровной, неодинаковой глубины.

— Чего ж вы так? — спросил Степа.— Халтурите-то?

— Мы привыкли к сложной работе,— не меняя позы, солидно отозвался Гуреев.— Нам, как пианистам, руки беречь надо.

Степа подумал немного, потом поднял с пола зубило и кувалду и оглянулся на рабочих. Те с усмешкой наблюдали за ним. Он приставил зубило к стене в том месте, где кончалась их борозда, и ударил кувалдой. Скол получился ровный и длинный. Степа повел борозду дальше. Сначала он еще прикидывал, куда нужно ставить зубило, с какой силой бить по нему, но через несколько минут делал это уже автоматически и ни разу не ошибся. Борозда шла ровно, как по линейке. Он бил кувалдой, и в руках у него была удивительная твердость; он точно знал, что следующий скол будет такой же ровный, как и предыдущий. Зубило не соскальзывало, и кувалда попадала точно. Инструменты в его руках словно сами знали, что делать. Он, казалось, даже не направлял их.

Степа увлекся и разгорячился. В лицо ему летела кирпичная крошка, со лба стекали ручейки пота, волосы слиплись и лезли в глаза, а он все бил и бил, находясь в удивительном упоении от работы. Изредка он на шаг отступал, прищурившись, критически оглядывал проложенную им борозду и оставался доволен: она шла точно параллельно полу. Он забыл о том, что делает чужую работу, что рядом сидят Гуреев и Лебеденко и взялся он за кувалду, в сущности, лишь для того, чтобы показать им, что не надо халтурить.

Остановился только когда борозда уперлась в угол стены. Тогда Степа бросил инструменты на пол, вытер потный лоб рукавом комбинезона и тяжело перевел дыхание. Подошел к рабочим и сел рядом с ними на пол, привалившись к стене.

— Ну и что? — сказал вдруг Гуреев.— Ну, и мы так можем, только ни к чему.

— Да нет, я так...— отчего-то смутился Степа.

— Тебе хорошо,— продолжал Гуреев.— Пришел, повыпендривался и — адью! Это, знаешь, хорошо так работать, когда бросить можно в любой момент. Это, и правда, иной раз в охотку — размяться.

— Почему бросить? — Степу огорчили его рассуждения, тем более что он почувствовал в них что-то справедливое.— Почему ж бросить? Я и дальше с удовольствием, только надо ведь по участкам идти. Кто же за меня сделает?

— А мы и сделаем,— неожиданно предложил Лебеденко.— Мы сможем, не бойся. А ты долби.

Степа растерялся. «А ведь действительно они смогут не хуже меня»,— подумал он. Вид у него, наверное, был смешной, потому что Гуреев добродушно хохотнул и сказал:

— Да он шутит. Иди, куда тебе надо. Это наша работа.

Он поднялся с пола, отряхнулся и потопал затекшими от неудобной позы ногами. Вслед за ним поднялся и Лебеденко. Степа вышел из цеха, но сразу же вернулся.

— Миша,— сказал он Гурееву.— я не выпендривался.

— Да я знаю,— снова усмехнулся тот.— Ты ж наш человек, верно?

Степа кивнул и скрылся за дверью. По дороге он решил взглянуть, как проводят радиотрансляцию в пятом цехе. Работал там Гурышев, его, конечно, можно было не проверять, но Степе просто захотелось зайти перекинуться двумя словами со стариком, которого он уважал.

Гурышев стоял на полу и командовал своим напарником, работавшим на стремянке.

— Отвес, отвес возьми. Не ленись, уйдет набок — переделывать придется. Ты представь: разве людям приятно смотреть, если мы у них на рабочем месте халтуру будем делать? Наша работа заключается в том, что мы их обслуживаем, понял? А людей обслуживать надо с душой... А-а, Степан! — приветствовал он Степу.— Проверить?

— Да нет... Я так, по дороге зашел.

— А я, видишь, паренька обучаю.

Степа, задрав голову, с удовольствием следил, как аккуратно работает под потолком новенький. Он знал, что работа эта только кажется простой, а на самом деле довольно сложно провести провод на пятиметровой высоте по потолку, особенно если стремянка под тобой ходит ходуном. И еще нужно следить, чтобы провод не увело в сторону. Приходится сильно откидываться назад, и из-за этого долго потом болит спина.

— Как это он так навострился? — не удержался Степа.

— Да, он молодец,— довольно подтвердил Гурышев.— Только спешит все. Молодой. Ну, да ладно...

— Дядь Коль,— сказал сверху парень,— подай, пожалуйста, бородок. Мой сломался.

— Эх, инструмент калечишь,— огорчился старик, вынимая из кармана новый бородок, со сверкающим, заточенным в форме маленькой лопаточки концом.— Инструмент любить надо, это хлеб наш.

— Да я не виноват,— сказал парень.— Он бракованный был, в нем раковина. Вот, поглядите.— Он протянул старику обломок.

— О-о! — изумился тот.— Раковина? Да что ты?! Ну-ка,— он надел на нос очки и внимательно осмотрел сломанный торец.— Да-а, раковинка есть. Но дело-то даже не в этом, а...

— Да знаю,— сказал сверху парень, не прекращая работы.— Перекален он.

— Ух ты! — сказал Гурышев и с уважением посмотрел наверх.— Во какой! — Он повернулся к Степе.— И откуда ж ты это знаешь? — спросил он у парня.

— Интересовался,— послышался лаконичный ответ сверху.

— А еще какой дефект в нем есть? — хитро спросил старик.

— Какой?

— Зерно в нем нехорошее, вот что. Я этих бородков повидал столько, что...

— Содержание углерода слишком высокое,— подсказал сверху парень.— Хрупкий он. Его, наверное, из сверла сделали...

— Да где ж ты понабрался-то? — спросил старик, но в голосе его, кроме уважения, слышалась уже обида.

— В учебнике, где еще? Я на слесаря-инструментальщика учился.

— А чего ж в монтеры пошел? — заинтересовавшись, спросил Степа.

— А я уйду,— спокойно сказал парень.— Через полгодика в Вологду поеду работать. У меня родители там. Они мне работку уже приискали.

— А чего ж тебя сюда занесло? — рассердился Гурышев.

— А у меня,— он двумя точными ударами приколотил провод,— жена здесь живет. У нее-то работа есть, а я вроде как беспризорный.

— Что же ты — жену бросишь? — поразился Степа.

— А что делать? У меня специальность редкая, хорошая, а здесь мне нет применения. К тому же я могу сразу на третий разряд сдать. А жена приедет. Ничего!

— Скучать будешь,—подумав, сказал Степа.

— Буду,— согласился парень.— Он спустился на пол и быстро собрал инструменты в чемоданчик.— Обед,— сказал он и ушел.

— А я бы жену не оставил,— сказал Степа.

— А он оставит! — сердито сказал Гурышев.— И уедет в свою Вологду и будет там зашибать рублей триста. А жена ему потом еще спасибо скажет!

— Может, дело не в деньгах? — робко спросил Степа, заранее зная, что ответит Гурышев. Но тот промолчал и только скептически усмехнулся.

Скоро они разошлись: старик отправился в цех, потому что по старой привычке носил обед с собой из дома, а Степа — в столовую. По дороге он вспомнил, что когда придет домой, Нади не будет. Она вернется только часов в десять. Ему стало грустно.

В столовой, когда подошла его очередь, знакомая раздатчица стрельнула на него глазами и спросила:

— Ну, тебе опять, небось, с верхом наливать, троглодит?

— С верхом, с верхом, есть хочу.

— А чего ты в кирпиче-то весь?

— Стены долбил. А мяса нету?

— Нету. Рыбу ешь, рыба еще полезнее — в ней фосфор.

— Утешила,— проворчал Степа.— Хоть картошки побольше положи.

— На, ешь,— она наложила ему гору картофельного пюре.— Иди, вон жена одна сидит, скучает.

— Где? — обрадовался Степа и покраснел.

— Сзади. Ну, чего побежал, со мной-то поговори, влюбленный!

— Потом поговорю,— пообещал Степа, отыскивая взглядом Надю.

Она сидела совсем рядом за чистым столом и допивала компот.

— Ты чего здесь? — спросил он, улыбаясь.— Обедала?

— Мне на смену через полчаса... Не лопнешь? — Она указала глазами на его поднос.— Хоть бы умылся. Ну, чего ты на меня уставился? — Надя вдруг смутилась и покраснела.— Люди ведь смотрят.

— Имею право. Ты мне жена.

— Эй! — крикнула ему из-за стойки раздатчица.— Потом я не захочу говорить.

Степа оглянулся на нее и увидел, что та смеется. «Что она говорит? — подумал он.— Какая симпатичная».

— А я сегодня кувалдой намахался,— сообщил он, обжигаясь супом.

— Устал?

— Нет, хорошо. Ты когда придешь?

— Как всегда. А ты не ходи никуда.

— Куда мне идти? Если только к Косте в больницу? — Он взглянул на нее, спрашивая разрешения.

— К десяти-то придешь?

— Да раньше.

— Ну иди,— разрешила Надя и заторопилась.

Она ушла, а Степа сразу ощутил себя одиноким. Раздатчица со своей веселой и дразнящей улыбкой теперь раздражала, и он старался не смотреть на нее. «И чего все время улыбается? — подумал он.— Разве может нормальный человек всегда быть веселым?»

Сзади к нему подошел Лебеденко и хлопнул по плечу.

— На тебя Людка пялится, а ты... Эх ты, туфель тряпочный!

— Иди ты!..— разозлился Степа.— Ты о чем-нибудь, кроме баб, можешь говорить?!

Лебеденко не обиделся.

— Не могу. Это у меня больной вопрос. У меня и у Мишки Гуреева. А ты не злись.

— Да я не злюсь,— сказал Степа, остывая.

— Тебе хорошо, ты женатый, а нам жениться пора. Мы старше тебя, а неженатые.

— Ну и женитесь, кто вам не дает?

— У нас запросы,— гордо сказал Лебеденко и торжественно удалился со своим подносом.

Степа посмеялся его словам, но вдруг понял, что смеяться-то не хочется. Что-то невеселое послышалось ему в шуточках Лебеденко, и он неизвестно почему пожалел его. «Что-то в нем такое есть...— подумал Степа.— Жалкое, что ли... Посмеивается сам над собой».

Через несколько минут он был уже в цехе. Обед кончался, рабочие собирались. Неожиданно дверь с треском распахнулась, и в цех ввалился Костя. Он, прихрамывая, вышел на середину и крикнул:

— Ага, не ждали!

По каким-то непонятным соображениям Костя, видимо, решил, что его появление в цехе должно всех удивить и даже напугать.

Он был растрепан, глаза у него блестели, и Степа понял, что Костя пьян.

— Ты откуда такой? — спросил он, быстро подходя к нему.

— От верблюда! — громогласно объявил Костя и захохотал. Потом он наклонился к Степе и, обдавая его перегаром, закричал в ухо: — Проверить кое-что надо было, понял? — Он пьяно подмигнул и пояснил: — Женушку.

— Да ты не ори хоть,— сказал Степа,— не позорься. Чего тебе проверять, когда она...

— А чего мне не орать? — возмутился Костя.— Я всем могу сказать, чтобы все знали: хороших баб не было и не будет. Все они...— Он махнул рукой и пошатнулся.— Продадут с потрохами. Не-ет, мужики лучше, честнее. Поняли?! — гаркнул он.

— Ну ладно, — сказал Степа, придерживая его за плечо.— Чего ты несешь-то? Ты жену-то любишь?

— Жену-то? — переспросил Костя и неожиданно улыбнулся жалкой пьяной улыбкой.— Люблю...

— Ну вот. А говоришь...

— Так это ведь...— Он прижал руку к груди.— Но все равно... А я ее спросил,— Костя припал к Степе на плечо и зашептал: — Я ее прямо спросил: крутишь хвостом? Так ведь заревела, дура! Ну, а мне сразу жалко. И знаю, что продаст, а все равно жалко.

— Ты хоть сейчас не приставай к ней,— сухо сказал Степа. — Ей ведь теперь нельзя волноваться.

— Ладно, не буду,— послушно, как ребенок, сказал Костя.— Но потом все равно... А узнаю — обоих придушу!

— Да ты что, спятил, что ли?! — уже совершенно искренне изумился Степа.— Тебе, может, наплели чего?

— Ничего мне не наплели.— Костя выпрямился и иронически взглянул на приятеля.— А сам я, по-твоему, дурачок, что ли? — Он пошатнулся и схватился за Степу.— Я тебе говорю: твари они подлые! Вот мы с тобой: если и поругаемся, то в крайнем случае по морде дадим. Хотя ты...— Он пренебре-

жительно махнул рукой.— А они — нет, они по-тихому... У, змеи!.. А! — неожиданно развеселился он, увидев Попова.— Кореш мой! Ну-ка поди сюда!

— Оставь ты его,— досадливо морщась, сказал Степа.— Дался он тебе. Иди лучше спать домой.

— Не пойду,— Костя упрямо замотал головой.— Танька там, я к ней приставать начну, а ей волноваться нельзя. Она это... в положении.— Он значительно поднял вверх палец. Глаза у него стали уже совершенно мутными.

— А ты не приставай, ты приди и ляг спать. Можешь ты так сделать?

— Могу,— заявил Костя.— Свободно.— В нем неожиданно проснулась нежность к Степе. Он обнял его и забормотал: — Степка, корешок ты мой... Ты человек... Мы, знаешь, чего? Мы летом на охоту пойдем. А?

— Пойдем, пойдем,— улыбнулся Степа.

Степа кое-как выставил его из цеха, взяв слово, что он идет домой спать. Из окна было видно, как Костя, шатаясь, бредет по двору, размахивает руками и мотает головой. Отойдя на порядочное расстояние, он вдруг обернулся, погрозил кому-то кулаком и расхохотался. Степа еще с минуту следил за ним, потом его снова заняли дела.

Уже возвращаясь домой, ежась на свежем ветру и с наслаждением вдыхая полной грудью холодный сладковатый воздух, Степа решил, что все складывается удивительно хорошо. Что́ именно хорошо, он не знал и не думал над этим,— просто после горячего душа, шагая навстречу летящим желтым листьям и глядя, сощурясь, в высокое светлое небо, он ощущал в себе удивительную энергию. И впервые в жизни он вдруг ясно понял, как хорошо быть молодым. «Все ерунда! — прошептал он в каком-то непонятном восторге — Все ерунда, если так хорошо!»

5

На следующий день, однако, выяснилось, что ехать ему никуда не надо: и станок и панели уже два дня как пришли и спокойно дожидались на станции, когда их доставят на комбинат.

— Ничего,— утешил Степу начальник цеха.— В другой раз съездишь.

— Да я и не рвался особо,— пожал он плечами.

— Странный ты. Другие, знаешь, как в Москву стремятся попасть?

Степа промолчал. Ему почему-то было неловко признаваться, что он просто-напросто не хотел уезжать от жены.

— И когда их нам доставят? — спросил он.

— После обеда, наверное. Да, кстати, вчера щиты из Орехова привезли. Мне сейчас только из ОТК звонили.

— Ну и как они?

— Да вроде ничего. Ну, ну, не крути носом! Что они, проверять не умеют?

— Знаю я, как они проверяют,— махнул рукой Степа.

— А мы сами еще дополнительно проверим. Ты возьми щит да подключи через него барак. Пускай поработает...

Степа ушел от начальника цеха и сразу же завертелся в делах. Через некоторое время ОТК пропустил щиты, и он, взяв Гуреева с Лебеденко, отправился в барак. Возились они там довольно долго, но поставили щит хорошо. Под конец Гуреев удовлетворенно хлопнул по щиту ладонью и сказал:

— Вот это работка по мне. А-то стены долби... Верно, Лебедь?

В цех они вернулись к обеду. Там уже собрались почти все монтеры, и Степа удивился, что не видно Кости. Судя по всему, он сегодня вообще на работе не появлялся. Степу это немного встревожило.

После обеда привезли панели, и электроцех почти в полном составе принялся за разгрузку.

— Часть — в цех,— распорядился Мигунов,— а часть. .— Он задумался.— В барак, что ли...

Лебеденко с Гуреевым, как всегда на пару, забрались в кузов и сбрасывали панели вниз; остальные, растянувшись в цепочку, передавали их из рук в руки и складывали штабелями у стены корпуса.

Степа встал третьим от машины, вместо старика Гурышева.

— А, пришел, начальничек! — крикнул ему Гуреев.— Ну держи тяжеленькую!

И он через головы двух первых рабочих бросил панель Степе. Тот без труда поймал ее, переправил дальше и поднял красное, разгоряченное лицо.

— Давай еще! — азартно скомандовал он Гурееву.

— Держи. У нас этого добра много! Верно, Лебедь?

Панели летели и летели, и Степа ловил их, радуясь своей ловкости и силе.

— Здоров ты, парень,— улыбаясь, сказал Гурышев, который хоть и не принимал участия в общей работе, но стоял и наблюдал за другими.— Эх, мне бы годков двадцать скинуть, я бы с тобой потягался. А где же дружок-то твой беспутный?

— Не знаю...— сбивая дыхание, проговорил Степа.— Придет.

Он распрямился, рукавом вытер пот со лба и вдруг боковым зрением увидел, что прямо в него летит очередная посылка Гуреева. Степа изогнулся по-кошачьи и все же поймал ее.

— Подожди, черт!— крикнул он.

— Что, спекся?! — захохотал тот.— Это тебе не наряды закрывать.

— Эй, начальник! — кричали сзади.— Давай работай или уходи! Задерживаешь!

Это дружеское покрикивание радовало Степу. И то, что его называли «начальником», как раз говорило — никакой он не начальник... И он лишь звено в этой цепочке, которая выстроилась от машины к корпусу, и без него она разрушится. Он оглянулся назад и увидел всех своих ребят, увидел их потные, раскрасневшиеся и довольные лица, в этот момент удивительно друг на друга похожие.

— Ну! — крикнул он Гурееву.— Давай!

И снова замелькали в воздухе плоские тяжелые свертки, и Степа снова и снова ловил их, не ощущая усталости. Иногда только у него мелькала тревожная мысль о Косте, но тут же пропадала: на нее не было времени.

Когда кузов грузовика опустел и Лебеденко с Гуреевым тяжело спрыгнули на землю, Степа разочарованно спросил:

— Все?

— Шабаш,— устало ответили те.— Кури.

— Я некурящий,— машинально сказал он.

Все расселись у корпуса — кто на скамейках, кто прямо на асфальте, и поплыли вверх синие облачка дыма. И Степа, хотя и не курил, сидел вместе со всеми, зажмурившись и подставив лицо теплому, как летом, солнцу.

...По дороге в заводоуправление Степа встретил Василевского. Тот поздоровался со Степой за руку и, внимательно посмотрев на него, спросил:

— Что это вы такой усталый?

— Да мы сейчас панели разгружали,— смутившись, ответил Степа. Он почему-то всегда смущался при встречах с заместителем директора, будто стыдился даже своим видом напоминать, чем тот ему обязан.

— И вы тоже разгружали? Ну, это напрасно,— укоризненно заметил Василевский.— Что это получится, если все руководители будут неквалифицированной работой заниматься?

Степа растерянно взглянул на него. Он видел, что вызвал недовольство начальства, но не мог понять, чем.

— Охота вам, что ли, переламываться? — недовольно буркнул Василевский.— Может, вас перевести куда-нибудь, где потише?

Степан вдруг решил, что совершенный им только что проступок настолько значителен, что его в наказание снимают с этой работы и переводят на другую.

— Нет, почему...— промямлил он, глядя в землю.— Я просто помог, и все...— И тут до него дошло, что никто его не собирается выгонять с работы, а, наоборот, Василевский как бы даже заботится о нем.— Мне другая работа не нравится,— сказал Степа.— Я уж здесь...

— Ну, глядите. А если что, не стесняйтесь, я всегда помогу.— Он положил руку Степе на плечо и, понизив голос, сказал: — Все-таки особо не панибратствуйте, ни к чему это.

Потом кивнул и, грузно повернувшись всем телом, ушел, а Степа со смешанным чувством разочарования и досады посмотрел ему вслед. Встреча эта оставила у него неприятный осадок, настроение испортилось.

Около нового, недавно построенного корпуса заводоуправления Степа увидел, как четверо рабочих пытаются втиснуть в дверь большой серебристый контейнер, расписанный красными иероглифами. Контейнер явно не проходил, но рабочие, кряхтя, сопя и ругаясь, упрямо толкали его вперед.

— Это что у вас? — спросил Степа, приближаясь.

— Да шут его знает,— устало ответил пожилой рабочий.— Станок какой-то, будь он неладен. Не хочет залезать, зараза!

— Да он и не залезет,— сказал Степа.— Двери узковаты.

— Как не залезет? — уверенно возразил тот.— Куда ж он денется? Надо, так залезет.

— Как же залезет, если он шире дверей?

— Ничего, как-нибудь да залезет,—не вдаваясь в подробности, заверил пожилой.— Однако пора по домам, ребятки,— сказал он, обращаясь к своим помощникам.

— А станок? — изумился Степа.

— Чего — станок? Запихнем куда-нибудь... Хоть в барак до завтра.

— Да нельзя его в барак! Вы что? Он на валюту куплен.

— А нам на твою валюту... знаешь...— вступил в разговор другой рабочий — узколицый, горбоносый парень с темной челкой, спадающей на глаза.— Мы что, не люди?

— Да ведь вам же работы больше,— попытался убедить их Степа.— Сейчас его в барак, завтра обратно.

— А ты за нас не волнуйся,—солидно сказал пожилой.— Мы не прогадаем. У нас еще пятнадцать минут есть — попробуем. А не войдет, тогда что ж... тогда завтра.

— А завтра войдет, что ли?

— Завтра войдет. А сейчас какая работа?

Степа еще немного понаблюдал за тем, как они без всякого энтузиазма пытались протолкнуть станок, и собрался уже было уйти, но в это время за спиной у него раздался хрипловатый начальственный голос:

— Что это вы, братцы, устроили? Дверь-то не резиновая.

Степа оглянулся и увидел директора комбината. Несмотря на теплый день, на плечи у него была накинута новенькая телогрейка. Маленькие быстрые глаза его из-под лохматых седых бровей смотрели остро и колюче.

— Давайте-ка разбирайтесь с этой бандурой,— нетерпеливо приказал он.— Ни пройти, ни проехать! — Он поискал глазами собеседника и, за неимением лучшего, обратился к Степе.— Повесили на мою шею,— проворчал директор, кивнув на станок.

— Как повесили? —не понял Степа.

Директор посмотрел на него так, будто пытался определить, действительно ли Степа не понимает, или притворяется.

— У нас план по новой технике, знаешь, какой? То-то, что не знаешь,— заключил он, не дожидаясь ответа.— Знал бы — так не спрашивал. Ты...— он помедлил, сверля Степу черными, живыми глазами,— из электроцеха, что ли?

— Да,— с какой-то виноватой интонацией ответил Степа.

— Ну ясно! Видишь, помню,— довольно сказал директор.— Теперь этого черта внедрять... А у меня своя техника ржавеет.

— А почему нельзя внедрить? — робко спросил Степа.

— Почему? — усмехнулся директор.— Можно внедрить... Внедрим, все внедрим,— пообещал он и, заметив недоумевающий Степин взгляд, рассмеялся.—Тут с пинцетиком нужно подходить. Машина деликатная, а нам нужны такие, чтоб в них ломаться нечему было. Ну, чего вы там копаетесь?! — крикнул директор рабочим и только после этого обнаружил, что проход свободен.— Вы мне заводоуправление не развалите,— бросил он, проходя в дверь.

Те молча поглядели ему вслед и поволокли станок к бараку.

Степа еще немного понаблюдал, вздохнул и поплелся в цех. Было пять часов, и все монтеры уже разошлись. Он принял душ, переоделся и пошел домой.

Постоял на мосту, глядя на медленно катящуюся под ним воду, и не спеша направился вдоль реки к своему дому, крышу которого с ярко-рыжей кирпичной трубой сразу отыскал среди множества других, похожих на нее как две капли воды. Он не думал о том, что возвращается домой,— просто впереди было что-то такое, что заставляло его временами ускорять шаг.

Он толкнул свою калитку, вошел в небольшой дворик, сел под яблоню, на скамейку.

Было тепло. К дому вела красная, выложенная кирпичом дорожка; на ней отчетливо выделялись желтые листья. Иногда налетал ветерок, и тогда слышалось негромкое шуршание. Степа погладил отполированное сиденье скамейки и похлопал его ладонью, словно старого друга по плечу, потом встал, машинально поправил покосившуюся подпорку под яблоней и, подойдя к дому, осторожно заглянул в окно. Внутри было сумеречно. Голубовато светился экран телевизора.

«Телевизор смотрит»,— прошептал Степа и блаженно улыбнулся. Потом быстро подошел к крыльцу и толкнул дверь.

Надя сидела на кровати, подобрав под себя ноги, и вязала. Увидев его, она отложила вязанье, зажмурилась и протянула к нему руки, улыбаясь с закрытыми глазами.

Он подошел и сел на край кровати. И сразу же его обхватили ее руки и повалили назад. Степа лежал головой на коленях жены и, не отрываясь, глядел в склоненное над ним лицо. Ему не хотелось ни шевелиться, ни думать — только лежать неподвижно и чтобы над ним все время было ее лицо.

— Пойду завтра на рыбалку,— неожиданно сказал Степа.— А то так и не порыбачишь за всеми делами.

— А на работу?

— Отгул взял.

— Что, переработал? Ишь ты, панели побросал и устал.

— А ты откуда знаешь?

— Видела. Рядом стояла.

— Как же я тебя не заметил? — огорчился Степа.

— Куда тебе! Для тебя работа важнее жены,— ласково и насмешливо сказала Надя.

Потом он ужинал, а она, по-бабьи подперев щеку ладонью, следила, как он ест.

— А Танька-то в больнице со вчера еще,— вдруг сказала она.— Знаешь?

— Да что ты?! — Он перестал жевать и испуганно уставился на нее.— Чего так рано?

— Бывает. Да ей уж почти пора.

— Ну она вообще-то как, ничего? — спросил он, думая в это время о Косте.

— Да вроде все нормально... По-моему, Костя боится,— тихо сказала Надя — Я его сегодня встретила, когда он в больницу шел. У него глаза такие были... Я ему говорю: ты не волнуйся, а он на меня посмотрел и засмеялся. А я-то вижу, что смеяться ему неохота.

— Да...— вздохнул Степа.— Он ведь никогда не скажет, что боится или волнуется.

— Потому что вы дураки, мужики: думаете, смеяться над вами будут.

Они долго сидели за столом в сгущавшихся сумерках. Солнце ушло за реку. Край неба и перистые облачка были нежно-розового цвета, на фоне которого резко выделялись корявые, переплетенные ветви яблонь.

И Степа еще раз подумал, что человеку хорошо там, где у него дом и где его любят.

6

Свежий и бодрый, он вскочил с кровати и несколько раз подпрыгнул, разгоняя кровь.

— Вставай,— принялся он тормошить Надю,— бери с меня пример — просыпаюсь как часы и спать не хочу.

— Не хочу я с тебя брать пример,— капризничала она.— Я вставать не хочу и на работу не хочу...

Степа быстро оделся и ушел на кухню ставить чайник. Открыл, как всегда, окно и высунулся во двор.

Утро было ясное и холодное. В нос ему ударил острый, бодрящий запах мокрых листьев и перегноя, от которого у Степы вздрогнули ноздри. «Как она может спать в такое утро?» — досадливо пробормотал он и пошел расталкивать жену.

Надя спала, завернувшись с головой в одеяло.

— Подъем! — закричал Степа.

Он сгреб ее, сонную, вместе с одеялом и, несмотря на то что она визжала и отбивалась, вынес во двор и положил под яблоню. Она и здесь попыталась уснуть, но он взял большой мокрый лист и прилепил ей на шею. Она снова завизжала, вскочила и, путаясь в длинной ночной рубашке, убежала в дом.

— Сумасшедший! — услышал он оттуда.— Я же простужусь!

Степа рассмеялся и, разведя руки в стороны, глубоко вдохнул холодный воздух. «Как хорошо! — подумал он.— Почему ж так хорошо? Никогда так не было... Ты знаешь, почему хорошо,— спустя некоторое время сказал он себе.— Потому что с Надей все в порядке. Потому что ты знаешь: она тебя любит. Все остальное было и раньше, а этого не было».

— Чайник кипит! — услышал он из окна звонкий крик.— Иди завтракать, я опаздываю!

Он постоял, подумал и недоверчиво спросил у кого-то: «Что ж, теперь всегда так будет?» Но тот, кто с ним говорил, на этот раз промолчал.

— Знаешь,— сказала вдруг Надя за завтраком,— мне кажется, мы скоро поссоримся.

— Это еще почему?

— Слишком у нас все хорошо, так не бывает.

— Тебе что, думать не о чем? Скажешь тоже...

— О чем же мне еще думать?—грустно сказала она.— А вдруг не помиримся?

— Этого не может быть! — твердо сказал Степа.

— Почему?

— Не знаю.— Он помолчал и повторил как бы про себя: — Нет, не знаю...

На работу Надя ушла погрустневшая и озабоченная. «Лезет же им в голову всякая чушь!» — рассердился Степа, заметив, что и у него настроение портится.

Он вышел во двор, быстро насобирал червей в консервную банку, взял удочку, запер дом и отправился на рыбалку, приказав себе не думать ни о чем, кроме предстоящей ловли. «Леска толстая,— мрачно думал Степа, вышагивая вдоль берега.— На кита, что ли, собрался?.. Поссоримся!.. Ну и что? Мало ли людей ссорятся?»

Степа дошел до своего любимого омута, где давно, еще в детстве, таскал крупных подлещиков. Наживил крючок здоровенным выползком и забросил удочку. Потом сел на кочку и угрюмо уставился на черную воду, где торчком стоял узкий красный поплавок.

Солнце еще не поднялось. Было прохладно и сыро. Но справа за рекой край неба уже наливался, на воду легли длинные тени. От слабого ветерка побежала рябь. В Степину заводь она пока не заходила, здесь было по-прежнему тихо и сумрачно от темных, густых, нависших над берегом ветвей старого дуба. Омут был глубоким, и Степа чутьем угадывал, как ходят под ним в яме здоровенные рыбины. Таинственно и загадочно поблескивала внизу тяжелым свинцовым блеском темная вода, словно лениво колыхалось чье-то огромное упругое тело.

Все неприятности и мрачные мысли ушли, и остался только поплавок — узкое красное перо, слегка покачивающееся, вяло переваливающееся с боку на бок под действием подводных струй. Один раз будто клюнуло, Степа замер, подавшись вперед, но жизнь в поплавке прекратилась так же внезапно, как и началась. Степа проверил крючок — червяк был цел.

Прошло довольно много времени. Показался над водой ослепительно-рыжий край солнца, и сразу же поверхность реки вспыхнула и заиграла множеством разноцветных огней; они блестели и пере-

ливались, загорались и гасли, бежали по воде, оставляя за собой светящиеся дорожки, а Степа, забыв про поплавок, как завороженный, следил за этой игрой.

Степе показалось, что он на несколько минут задремал и проснулся от какого-то толчка. Поплавка перед ним не было. Степа не сразу сообразил, что это и есть та самая поклевка, которую он ждал, что это такая поклевка, лучше которой и желать нечего. «Опоздал!» — мелькнуло у него в голове в тот момент, когда правая рука автоматически делала мягкую подсечку.

Он не опоздал. Удилище, словно наткнувшись на некую преграду, согнулось дугой, леса натянулась, и Степа ощутил, как на другом ее конце, там, в темной глубине, заходила, заметалась из стороны в сторону какая-то крупная рыба, стараясь освободиться от впившегося крючка, и всякий раз, когда леса вздрагивала от удара, вместе с ней вздрагивал и Степа. Одной рукой он водил удилище, следя, чтобы оно все время стояло под углом к лесе и смягчало рывки, другой лихорадочно снимал с тормоза катушку, которую, как назло, заклинило. «Идиот! — ругал он себя, весь дрожа от возбуждения.— Не мог проверить!» Он понимал, что если рыбе сейчас взбредет в голову метнуться к середине реки, она без труда порвет лесу и уйдет. Но рыба почему-то билась на месте, кругами, словно ждала, пока он исправит катушку.

И действительно, как только он поставил катушку на трещотку, рыбина кинулась от берега, и леса стала стремительно уходить в воду. Рыба отскочила метров на пять, остановилась и несколько секунд стояла неподвижно, будто решая, что бы еще выкинуть. Степа подумал, что она устала, и тихонько потянул, но в ту же секунду на поверхности вскипел белый бурун, и великолепное, сверкающее, узкое, как клинок, тело вылетело на полметра из воды и тяжело шлепнулось обратно. «Голавль!» — ахнул Степа, и внутри у него все оборвалось. Он никогда не вытаскивал таких огромных голавлей, но знал, как трудно вывести эту необыкновенно сильную, беснующуюся на крючке рыбу.

И снова началась бешеная скачка под водой.

Степа не знал, сколько прошло времени, минут, наверное, двадцать. У него затекло тело, и он начал осторожно переминаться с ноги на ногу, шевелить плечами и мотать головой. Ему казалось, что он устает значительно быстрее, чем голавль. Но тот неожиданно во второй раз стал. Теперь уже Степа не спешил тянуть. Очень плавно, боясь совершить резкое движение, начал он собирать лесу на катушку. С трудом, медленно, но вместе с тем с вялой покорностью рыбина приближалась к берегу. Она не сопротивлялась — Степа это чувствовал,— просто была тяжелой.

Это был роскошный большой голавль. Чешуя на нем еще не потускнела: сверкало белое брюхо, темной синевой отливала спина и ярко горели алые перья. Он часто и беспомощно раскрывал рот и шевелил жабрами. Степе на секунду стало его жалко. Некоторое время он стоял над ним, потом нагнулся, взял за жабры и отнес на берег. Голавль слабо шевелил хвостом, как собачонка, признавшая силу хозяина.

На легком ветерке яркие краски его быстро потускнели, он уже не сверкал, не переливался и едва напоминал того красавца, полного силы, которого Степа вытащил из воды каких-нибудь пять минут назад.

Все оживление и радость у Степы пропали. «Бросить его в воду, что ли?» — подумал он. И голавль, будто отгадав его мысли, изогнулся, подпрыгнул и замер. «Ну что? — казалось, спрашивал он.— Что ты решил?»

Степа помедлил, потом взял тушку голавля и в нерешительности покачал на ладони. «Граммов на семьсот тянет»,— пробормотал он и вдруг, широко размахнувшись, далеко зашвырнул голавля в реку.

И сразу как камень с души свалился. Степа лег на спину и, закинув голову, посмотрел наверх, в голубое небо. «Как хорошо! — думал Степа.— Как же хорошо, спокойно и ничего не надо». И без всякого перехода, как о чем-то совершенно постороннем он подумал, что Таня сейчас, возможно, мучается от диких болей, а Костя... Он резко сел. «Фу ты, черт! — сказал он себе.— Но я же не виноват... Мало ли, кому сейчас плохо, что же мне рыбу не ловить?» А покоя уже не было.

Он снова закинул удочку, но понял, что рыбалка кончилась. Взглянул на часы. Через час должна была вернуться с работы Надя. Он положил удочку на плечо и зашагал домой.

Кое-как промаявшись от безделья вторую половину дня, Степа на следующее утро был на комбинате.

— Как там щит-то наш? — спросил он у Гуреева.— Стоит? Ничего?

— Стоит...— как-то неуверенно ответил тот.

— А чего?

— Да он, понимаешь, чего-то praванивает.— Гуреев даже покрутил носом.— Я решил поглядеть — все-таки, сам понимаешь... а он чего-то... вроде подгорает. А может, смазка... В общем, хрен его знает! А так ничего...

Степа задумался, и в это время его вызвали к начальнику цеха.

— А, Сизов! — приветствовал его тот.— Как отгулял? Нормально?

— Нормально,— улыбнулся Степа.— На рыбалку ходил.

— Ну и как?

— Голавля вытащил — во! — Степа в азарте раздвинул руки, может быть, лишь чуть шире, чем на длину рыбы, но начальник рассмеялся.

— Рыбак, рыбак. .

— Да правда, Виктор Степанович... Да что вы, ей-богу, смеетесь? Грамм на семьсот голавль был. Я его выпустил...

— А чего ж ты его отпустил-то? — все еще смеясь, спросил начальник.— Тащить тяжело было? — Он помолчал и уже серьезно продолжал: — Значит, так, я ребятам сказал, с завтрашнего дня начинаем установку панелей. Причем, не отключая цеха, понимаешь? Дирекция не разрешает останавливать работу цехов.

— Да это ерунда! — махнул рукой Степа.— Пока станок работает в одном режиме, мы его замкнем напрямую, а сами будем работать.

— Правильно. Я им так и сказал. Но сделать это надо в самые короткие сроки.

Степа вернулся в цех, и почти сразу вслед за ним пришел Костя. Ни на кого не глядя, с каким-то странным выражением упрямства и вместе с тем растерянности на лице, он прошел в дальний угол и сел на ящик спиной ко всем.

Степа стоял и смотрел на широкую неподвижную спину Кости. Эта обреченно сгорбленная спина внушала беспокойство. Степа подошел.

— Ты чего? — спросил он у спины.

Костя поднял голову. Лицо у него было сероватое. Под глазами легли темные круги. Раскосые глаза уставились на Степу, но смотрели куда-то вдаль. Степе сразу стало страшно — и от этого взгляда и от застывшего, неживого лица.

— Степан,— ровным голосом сказал Костя,— она ум...— У него вдруг запрыгала челюсть, и он уже не мог выговорить ни слова, лишь в горле что-то булькало.

Степа еще ничего не понял. Он только угадал, что произошло что-то ужасное, и, оцепенев, не дыша, стоял и ждал.

— Она умирает,— выговорил наконец Костя и снова отвернулся к стене.

Степа смотрел на него и шептал:

— Как же так? Так не бывает...— В глазах у него защипало, он шмыгнул носом и заговорил тонким, не своим голосом:— Ты погоди, ну что ты... Это бывает у них...

— Что бывает?! — яростно прошептал Костя, резко повернувшись к нему и стискивая кулаки.— Что умирают, бывает?! Это я знаю!

Глаза у него стали совсем бешеные.

— Да нет, не это...— лепетал Степа, чувствуя, что еще немного и вместо Кости заплачет он сам.— Не это... Бывает, что вот так... тяжело, а потом все нормально.

— Что нормально?! — злобно глядя на него, словно это Степа был во всем виноват, сказал Костя.— Что там нормально, когда она второй день ни говорить, ни ходить не может?! К окну не подходит! Записочки вместо нее мне кто-то пишет! Руку поднять не может! — Он стукнул себя кулаком по колену.— А знаешь, что такое, если она... Это значит, что она...— Глаза у него вдруг заблестели, он часто заморгал и заговорил детским, обиженным голосом: — А мне говорят, состояние удовлетворительное... Какое там удовлетворительное...

— Да погоди ты! — с отчаянием сказал Степа.— Ребенка родить, это тебе не... не... Так намучаешься — неделю разговаривать не захочешь!

— Да она его быстро родила,— жалобно сказал Костя.— Совсем быстро...

— Быстро — еще не значит, что легко,— авторитетно заявил Степа. Он вообще почему-то успокоился.— Ты погоди паниковать. Сейчас я туда съезжу и все выясню. А как ребенок-то? — спросил он, вспомнив, что в таких случаях положено интересоваться ребенком.

— Какой там ребенок, если она умирает?! — снова вскинулся Костя.— Какой, к черту, ребенок?!

— Я сейчас все узнаю,— заторопился Степа.— Сейчас поеду и все выясню. Ты жди меня здесь, я скоро.

— Поезжай.— Костя безразлично пожал плечами.— Чего там выяснять?..

Степа как угорелый выскочил из цеха и сбежал к реке. В Верхнем городе он поймал такси и через десять минут был в родильном доме.

— Скажите,— заискивающе спросил он у дежурного врача,— тут у вас женщина лежит... Шибанова фамилия... Как она?

Врач посмотрела в разграфленный лист бумаги и спокойно объявила:

— Состояние удовлетворительное. Небольшая температура еще держится, но матери лучше. Роды были тяжелые — разрывы средней степени.

— Разрывы? — в ужасе прошептал Степа.— Как разрывы? — Теперь у него уже не было сомнений в том, что Таня умирает.— Она... умирает? — спросил он, со страхом глядя на врача.

— Да что вы?! — засмеялась та.— Если бы от этого умирали... Вы можете подозвать ее к окну. Она, по-моему, уже встает. Вы знаете, в какой она палате?

Врач объяснила Степе, как найти окно палаты, он вышел на улицу, обогнул роддом и подошел к третьему, как ему было сказано, окну. Вглядевшись, Степа увидел в центре палаты стол и около него Таню. Она стояла, опершись на стол рукой, и разговаривала с какой-то женщиной. Заметив Степу, она медленно, держась за спинки кроватей, подошла к окну и слабо улыбнулась. Он не смог улыбнуться ей в ответ: так был поражен происшедшей с ней переменой. На него из сумрака палаты смотрело изможденное, осунувшееся и, как ему показалось, совершенно старушечье лицо. Внутри у него все сжалось и заныло. «Нет уж... Если это так достается...— думал он.— Нет уж, не надо».

К ней подошли две женщины и, укутав ее одеялом, приоткрыли окно.

— Ну, что ты на меня смотришь, как на покойницу? — чужим, хриплым голосом сказала она.— Страшная стала?

— Да разве дело в этом? — еле выдавил Степа.

— Значит, страшная.— Таня усмехнулась.— Ничего, видишь, жива. Ты скажи ему, что все в порядке, пусть не волнуется. Скажи, девочка очень хорошая, четыре килограмма. Иди, а то простужусь, тогда точно уж умру.

Он повернулся и пошел по двору роддома, шатаясь и скользя на мокрых опавших листьях. «А онто думал, что она умирает. Подумаешь тут... А я сейчас приеду и скажу ему, что говорил с ней...» Он на секунду замер и вдруг побежал, путаясь в полах плаща и нелепо размахивая руками.

— Я с ней говорил! — завопил Степа, весь красный, влетая в цех.— Она к окну подходила! Говорит, чтоб ты не волновался! Девочка! Большая!

Костя медленно поднялся, растерянно обвел глазами цех и нерешительно спросил:

— Так я поеду к ней, съезжу, что ли?

— Конечно, поезжай,— разрешил Степа.— Только долго с ней не говори.

— А ты потом домой пойдешь? — неуверенно спросил Костя.

— Хочешь, могу тебя подождать?

— Подожди, я быстро.

Костя исчез, а Степа возбужденно зашагал по цеху. Он что-то бормотал себе под нос, оживленно жестикулировал, кого-то в чем-то убеждал и время от времени негромко смеялся.

Его остановил Гуреев.

— Ты чего такой?

Степан посмотрел на него бессмысленными глазами, махнул рукой и снова бесцельно зашагал по цеху. Гуреев скептически поглядел ему в спину и постучал пальцем себе по лбу.

Костя так и не пришел. Степа долго прождал его и явился домой только в шесть часов.

Надя сидела на кровати в своей обычной позе и смотрела телевизор. Она молча взглянула на него, и Степа понял — что-то неладно.

— Привет! — бодро сказал он.— Заждалась?

— Нет, мне не скучно. Дел хватает.

— А я Костю ждал. Представляешь, он вообразил, что Танька умирает! Ну, я поехал туда к ней, узнал, оказалось, что все в порядке Потом он сам поехал и попросил, чтоб я подождал его.

— Зачем? — быстро спросила Надя.

— Ну, как... Он в таком состоянии был...

— А ты-то ему зачем нужен был? Чем ты ему мог помочь?

Степа пожал плечами и обреченно подумал: «Ну вот, начинается». Он хорошо понимал, зачем нужен был Косте и зачем тот попросил его подождать, но объяснить этого не мог. Пытаясь это сделать, он сам видел, что получается ерунда и бессмыслица.

Выходило, что ему действительно не следовало ждать Костю.

— Если ты хотел пообщаться с приятелями, то хотя бы предупредил,— безразличным тоном сказала Надя.— Я, по-моему, тебе еще никогда не запрещала.

— Да не хотел я с ними общаться,— сказал Степа.— Я ждал Костю.

То, что было очевидно и ясно ему, Надя не могла или не хотела понять. Больше того, растолковывая ей, он сам терял уверенность в своей правоте.

— Ну, ладно,— вздохнул Степа,— не будем ссориться.

Надя, не ответив, ушла на кухню.

— Ужинать будешь? — сердито спросила она оттуда.

— Буду,— улыбаясь, ответил Степа.

Они все-таки не поссорились и, уже лежа в постели, Степа сказал задумчиво:

— Как он, бедняга, перепугался...

— Обо всех заботишься, только не о жене,— капризно сказала Надя.

Вместо ответа он погладил ее по руке.

7

В понедельник утром Степа по привычке сразу зашел к начальнику цеха. Тот разговаривал по телефону и, не отрываясь, указал Степе на кресло.

— Да что ты, Андрюша,— говорил он,— кто нас отключит? Никогда они на это не пойдут! У нас ведь экспортная продукция идет. Заплатим штраф, и дело с концом... А ты им сказал, что у нас от их экономии рабочие слепнут?! — неожиданно закричал начальник цеха.— Ты им сказал, что у нас в цехах лампы в полнакала горят?! Или им наплевать на это?! Ну, конечно, конечно... Ах, Андрюша, все всё знают... Ладно, авось как-нибудь переможемся. Так ты заглядывай после обеда. Ну, пока.

Он положил трубку и с минуту держал руку на аппарате, словно соображая, кому бы еще позвонить.

— Да,— задумчиво сказал Мигунов,— намылят сегодня Андрею холку... Срезали нам, понимаешь, лимиты, и образовался значительный перерасход электроэнергии. Так что грозятся даже от сети отключить.

— Да они каждый год грозятся,— махнул рукой Степа.

— Ну, отключить-то они, положим, не отключат, никто им этого не позволит, но жару зададут. Инспекция сегодня из Облэнерго приедет... Ну, ладно, это нас не очень касается. Ты вот что,— продолжал он уже деловито и озабоченно,— ты сейчас в срочном порядке разведи ребят по цехам, наладь их на эти панели, объясни, что к чему. А потом успей еще обойти всех и проверить, как и что. Понял? А то напортачат — век не расхлебаем. Заискрит контакт — и авария. А кто виноват? Мы! Не тот, кто напорол, а мы! Так-то, брат... Так что уж проследи...

В цехе Степа увидел Костю. Тот стоял у верстака и сосредоточенно пилил ножовкой стальную трубу.

— Ну что? — весело спросил Степа, подходя к нему.

— Что — «что»? — отрывисто сказал Костя, не прекращая работать.

— Как Таня-то?

— Нормально,— усмехнулся Костя.— Что ей сделается?

— Ну, вот видишь, а ты боялся!

— Боялся!.. Ничего я не боялся! Что ты понимаешь? Будет у тебя Надька рожать, я на тебя посмотрю. Боялся... Ишь ты...— Он снова двинул ножовкой и на Степу больше не смотрел.

До обеда Степа обошел весь комбинат. Устал, но зато убедился, что все правильно выполняют задание. Правда, на месте не оказалось Гуреева с Лебеденко, и он нигде не мог их разыскать.

Возвращаясь перед обедом в цех, Степа столкнулся с Извековым, который стоял перед входом в корпус с тремя незнакомыми мужчинами. Степа никогда еще не видел главного энергетика в таком возбужденном состоянии: всегда спокойный и вежливый, сейчас он был красен, говорил громко и резко жестикулировал.

— Не подпишу! — услышал Степа, подойдя поближе.— Не подпишу я ваш акт! Разве я виноват, что прокладки делают такие, что их через месяц выбрасывать надо?! Что вы мне предлагаете?! Никогда я на это не пойду, чтобы люди только при местном освещении работали!

— Не мы это придумали,— сказал худенький, невзрачного вида человечек в кепке, которого Степа счел инспектором Облэнерго.— Экономия электричества — дело важное, а вы проявляете несознательность. Вы как руководитель...

— Экономия! — снова взорвался Извеков.— На чем экономите! Важнее, знаете, что? Чтобы энергия в землю не уходила, чтобы электростанции в полмощности не работали! Да чтобы объекты строить от них поближе, а не за тысячу верст! Чтобы на линиях потерь не было! Вот где экономия! А заставить людей впотьмах работать — это легче всего! Вам что: вы актик подмахнули — и с плеч долой, а мне о людях думать.

«Правильно,— устало думал Степа, поднимаясь по лестнице в корпус.— Не такие уж мы нищие, чтобы в темноте работать. Но и те правы со своей стороны...»

В цехе он увидел Гуреева с Лебеденко.

— Чего это вы? — спросил Степа.— Почему панели не меняли?

— Спецзадание Мигунова выполняли,— усмехаясь, по своему обыкновению, ответил Гуреев, так что, как всегда, было непонятно: смеется ли он над собой, над Степой или над распоряжением начальника цеха.— Другой щит в бараке поставили.

«Станок нужно оттуда убрать»,— равнодушно подумал Степа.

Усталость как-то сразу навалилась на него, и всю вторую половину дня он еле таскал ноги по комбинату, автоматически подмечал и указывал ребятам на неточности и ошибки в работе и думал только о том, как придет домой и отдохнет. «Наверное, я заболел,— решил Степа.— Вот, черт, некстати! Я же сейчас ничего не соображаю,— убеждал он себя,— нельзя в таком состоянии работать». Он заставлял себя по нескольку раз пристально вглядываться в собранные панели, сверять их с нарисованной на бумажке схемой, хотя прекрасно помнил ее, и все-таки неуверенность не покидала его.

В конце дня он опять вспомнил про станок. «Убрали его из барака или нет? — снова подумал он.— Надо бы зайти, проверить...»

Но он не проверил, а пошел домой. По дороге его догнал Костя, и некоторое время они шли молча.

— Она уже кормит,— неожиданно сказал Костя.— Говорит, молока много.

— Как дочку-то назовешь? — помолчав, спросил Степа.



— Это она сама пускай,— Костя махнул рукой.— Парня я бы Сашкой назвал, а это она пускай сама.

«Интересно, будут у меня дети?» — подумал Степа так, словно это зависело от каких-то посторонних обстоятельств.

8

Во вторник утром бригадиров и мастеров позвали на совещание в кабинет начальника цеха. У дверей Степа услышал, как Извеков удовлетворенно сообщил Мигунову:

— Подбросили-таки полмиллиона киловатт на следующий месяц.

— Ну, ясно,— как-то брезгливо отозвался тот.— Играют в кошки-мышки...

На совещании начальник цеха отметил, что замена панелей идет хорошими темпами и что если так будет продолжаться и дальше, то за две-три недели будут переоборудованы все цеха. При этом он похлопал Степу по плечу и сказал:

— Моя правая рука. Что бы я без него делал?..

Потом еще раз обсудили план и сроки выполнения работ в четвертом квартале и разошлись. И Степа снова ходил по комбинату, проверяя монтеров.

В седьмом цехе работал Попов. Степа, подойдя к нему, сразу увидел, что хотя он собирает панель правильно, но припаивает не те провода, какие нужно: вместо тонких плавких проводников Попов паял толстые, алюминиевые.

— Ты что, «жучки» ставишь?! — накинулся на него Степа.— Ты соображаешь, что делаешь-то?!

— А что? — удивился тот.

— Тебе объяснить, что ли?! У него сопротивления нет, понял? Ты на схему хоть смотрел? Я ж тебе все расписал! Ты ведь предохранитель сейчас собираешь, голова! Плавкий! Куда ты эти дубины суешь?! Они разве расплавятся? Я тебе давал проводники, куда ты их дел?

— Да кончились они,— хмуро ответил Попов.

— И ты не мог сходить взять?

— Ну, чего ты на него накинулся? — услышал вдруг Степа знакомый голос и, обернувшись, увидел Надю.

— Да потому что работает спустя рукава! Ладно, если бы не знал, а то знает и халтурит,— ворчал Степа, а сам смотрел на жену и улыбался.

— Раскомандовался, начальник,— сказала Надя и легонько дала ему подзатыльник.— Парень молодой, может, и не знает чего.

— Да знаю я все,— буркнул Попов и покраснел. Степа хотел было снова разозлиться на него, но неожиданно ему стало смешно: действительно, мальчишка — краснеет оттого, что женщина заступается.

— Давай дуй за проводами,— строго сказал он. Когда Попов ушел, Надя рассмеялась:

— Вон ты какой строгий, оказывается! Дома-то не такой...

— Ладно, я теперь тобой тоже командовать буду.

— Я тебе покомандую...

В цех Степа вернулся только к обеду, чтобы вместе с Костей идти в столовую. Настроение было неважное, он хмурился и помалкивал.

— Ты чего это? — спросил Костя.

— Сам не знаю. Бегаешь, крутишься, как будто тебе одному надо... Попов этот... Я ему высокоомного провода больше всех дал, а все равно не хватило! Черт его знает, как он работает!..

— Так ты чего, фитиль ему вставил?

— Да главное, зря, наверно. Злодей он, что ли, какой? Просто молодой парень. Это тебе не Гурышев, который каждый кусочек бережет. А тот не может и не виноват в этом...

— Ладно, ты не больно умничай! — Костя хлопнул его по плечу, пропуская в дверь.— Тебе не мужичьем командовать, а этими... девицами. Подумаешь, Попов... И вообще он слизняк. Я б его...

Костя не договорил. Они оба, как по команде, повернули головы и принюхались: откуда-то явственно тянуло гарью. Переглянувшись, они, не сговариваясь, заторопились к бараку.

Барак горел. Из всех его щелей выбивался дым, изнутри слышалось напряженное мощное гудение огня. Хотя он еще не вырвался наружу, чувствовалось, что внутри огонь бушует вовсю. Близко к бараку стоять было жарко.

Вокруг уже собралась толпа, слышались тревожные голоса.

— Это все щиты эти...— растерянно сказал Степа.— Как он загорелся-то, не понимаю? Солярку я убрал оттуда...

— Солярку, солярку! — зло отозвался Костя.— А ветоши там куча лежала, это что? Она ж промасленная вся.

— Слушай,— тихо вдруг произнес Степа,— там ведь станок...

— Э-з, вот так пожар! — сказал чей-то оживленный голос сзади.— Сильно горит.

Костя сердито посмотрел на говорившего, потом на Степу.

— Знаешь что,— сказал он, и глаза у него заблестели.— Сейчас мы его вытащим.

— Я тебе вытащу,— машинально ответил Степа и в этот момент заметил, что Кости рядом уже нет: тот, растолкав людей, шел к бараку.

Секунду Степа стоял как бы в столбняке, потом в два прыжка догнал Костю и повис у него на руке.

— Спятил?! — задыхаясь, проговорил он.— Сгореть захотел, идиот?!

— Пусти...— хрипел Костя. Он попробовал тянуть Степу за собой, но тот был слишком тяжел.

А барак трещал все сильнее. От жара невозможно было дышать. Неожиданно Костя, изловчившись, вырвал руку, и Степа упал, но успел обхватить его ноги, и Костя упал рядом. С минуту они лежали неподвижно и широко раскрытыми ртами ловили раскаленный воздух. У обоих не было сил.

Внутри барака что-то рухнуло, но сруб еще держался. Потом сама собой открылась дверь и безжизненно закачалась на одной петле. Из черного проема вырвался клуб дыма, пепел, и вслед за этим рыжие языки пламени принялись снаружи ласково и старательно вылизывать бревна. Барак чернел на глазах.

Снова затрещало, и огонь, пробив, наконец, крышу, факелом взвился вверх. Посыпались искры. Одна из них упала прямо перед Степой, и он тупо следил, как она гаснет, медленно превращаясь в маленький черный уголек.

— Что это вы тут резвитесь, как котята? — раздался вдруг над ними спокойный голос Мигунова.

Они встали и, понурив головы, как провинившиеся школьники, стали отряхиваться.

— Да вот,— виновато сказал Степа,— он хотел станок вытащить...

— А ты, значит, не пустил его,— продолжил начальник цеха.— М-да... Несознательно поступил. А если б действительно станок там был?

Они вытаращили глаза на Мигунова. Тот усмехнулся.

— Нет его там, нет. А вот панели жалко, они ведь на тележечках так аккуратно уложены... Можно было, конечно, попробовать, хотя...— Он посмотрел на покосившийся и готовый завалиться сруб.— Ну пошли, что ли, герои!

Щеку у Кости пересекала длинная свежая царапина. Он мрачно глянул на начальника цеха, потом злобно пнул попавшийся на дороге кирпич и, схватившись за ногу, отпустил такое замысловатое ругательство, какого Степа никогда еще от него не слыхал. Мигунов сделал вид, что не расслышал.

— А ведь тебе может попасть,— сказал он Степе перед входом в корпус.— Да, да, не удивляйся. Обязан был, так сказать, споспешествовать спасению материальных средств. Панели-то эти так просто не спишешь, да и жалко чертовски...— Он вздохнул и ушел.

— Суки! — снова выругался Костя. — Предупредить не могли!

В цех влетел Попов.

— Завалился! — с порога крикнул он.— Как вы ушли, так он сразу и завалился. Искры прямо до неба! Салют!

— Пошел ты...— вяло бросил ему Костя.— «Салют»...

— А чего я-то? — обиделся Попов.

Степа подавленно молчал.

— Сразу, как мы ушли, завалился? — переспросил он.

— Говорю ж, сразу. У кого хочешь спроси.

В цех не спеша вошел Гурышев.

— Что-то, парень, Мигунов тебя требует,— сказал он, серьезно и немного печально глядя на Степу.— Так что иди, брат, к начальству.

Степа вздохнул и поднялся.

— Так как же он все-таки загорелся? — спросил его начальник цеха, не дав даже переступить порог.— Ну, щит заискрил — это понятно. Но все равно ведь не так просто... Солярку-то ты оттуда убрал?

— Убрал. Да там концы старые были и ветошь промасленная, так что...— Степа не договорил и махнул рукой.

— Плохо, плохо,— озабоченно сказал начальник.— Достанется нам. Да и Илье Григорьевичу, Прометею нашему, тоже попадет,— добавил он, увидев входившего в кабинет высокого худого старика с густыми седыми бровями и сердитым взглядом.

— Прометей, уважаемый Виктор Степанович, как я помню из курса гимназии, подарил людям огонь и совершенно напрасно, смею заверить, сделал, поелику обращаться они со стихией этой так и не научились.— Старик презрительно пожевал тонкими, бескровными губами и, строго посмотрев сверху вниз на Мигунова, продолжал: — Я же, напротив, призван по мере сил исправлять эту ошибку.

— Прометей научил обращаться с огнем, и вы... учите нас, дураков, поскольку вы всех пожарников начальник.

— А как же я вас научу, если вы словно дети малые? — Начальник пожарной охраны дернул костистыми плечами.— И попасть мне за то, что вы, извините, шутихи в небо пускаете, никак не может, потому что у меня есть акт, составленный еще в прошлом году, за вашей подписью, поскольку сгоревшее...— он немного помолчал, подыскивая подходящее определение,—...сгоревшая, стало быть, постройка проходит у меня по вашему ведомству. И в сем акте, который вы изволили подписать,— он полез во внутренний карман пиджака и извлек сложенный вчетверо лист бумаги,— сказано, что постройка эта, или, как вы ее называете, барак,— старик снова презрительно усмехнулся,— находится в безобразном, с точки зрения противопожарной безопасности, состоянии. Так что...

— Мы меры не приняли...— вяло сказал начальник цеха,— впрочем, это совершенно неважно.— Он махнул рукой.— Теперь комиссию создадут... по выяснению,— саркастически добавил он,— и хуже всех знаете, кому придется? Вон ему.— Он кивнул на Степу.— На него всех собак повесят.

Старик обернулся с таким видом, будто лишь сейчас заметил в кабинете третьего человека, промолчал и поднялся. Аккуратно сложил акт и водворил его на прежнее место, в какое-то хранилище внутри ветхого обширного пиджака.

— Желаю здравствовать,— сказал он и с достоинством удалился.

— Тип! — усмехнулся Мигунов.— Знаешь, сколько ему лет? Восемьдесят два года! Кавалергардом был при царе-батюшке... Любимец женщин... Это он один раз только на Седьмое ноября выпил и разоткровенничался.

— Так что, нагорит мне от комиссии этой? —мрачно спросил Степа.

— От комиссии — не знаю, это дело больше, так сказать, по общественной линии, но вообще... да нет, не должно! — Зазвонил телефон, и начальник рывком снял трубку.— Да? Да, Григорий Семенович, слушаю.— Степа понял, что звонит директор комбината.— Щит, щит, Григорий Семенович, ясно, как божий день! Ореховцы, мерзавцы, брак подсунули! — Он помолчал.— Да было там кое-что огнеопасное: концы, ветошь разная... Да нет, не склад, конечно, но щит... Я ни на кого не перекладываю,— жестко сказал он.— Наша вина тоже есть, не отрицаю. А я не мог сразу через эти щиты подстанцию включать. Если бы там авария произошла, вы бы сами с меня голову сняли! Извините...— Мигунов вздохнул.— Да, конечно. До свидания.— Он раздраженно бросил трубку на рычаги.— Ладно, отбрешемся,— устало сказал он Степе.— Ничего...

Начальник цеха снова стал самим собой. Исчезла его необычная живость и нервозность — перед Степой сидел суховатый, сдержанный, но вместе с тем как-то по-домашнему утомленный и расслабленный немолодой человек.

— А в общем-то дело дрянь,— резюмировал он.

Степа вышел.

Домой он пришел тоже грустный и подавленный.

— Ну, чего ты? — спросила Надя.— Из-за панелей этих?

— Да не из-за панелей. Мигунов говорит, что я обязан был шпе... шпо... ну, вытащить их, в общем! А я и сам не полез и Костю не пустил. Мигунов говорит, по общественной линии может нагореть.

— Ну и ладно! Подумаешь!

— Так обидно ведь,— жалобно сказал Степа и засопел.

— Обидели маленького... Иди, я тебя пожалею.

Она сама быстро подошла к нему, взяла обеими руками за голову и, наклонив, прижала к себе. Внутри у него все как-то потеплело и обмякло. И он, тяжело вздохнув, уткнулся носом ей в плечо.

— Я им покажу — моего мужа обижать,— как ребенку, сказала Надя и взъерошила ему волосы на затылке.

— Что ж, гореть, что ли? — немного погодя и, словно оправдываясь, тихо сказал Степа.— У него ведь дочка...

— Ты тоже не один,— отрезала Надя.

Он смотрел на нее, но не видел. Перед ним был не простой живой человек, не только его жена, а что-то такое, без чего нельзя жить, невозможно. Она двигалась, говорила, а ему казалось, что это двигается и говорит он сам; у него возникало даже непроизвольное желание ходить за ней следом и повторять ее жесты. Она поднимала руку, и у него рука сама тянулась вверх...

На следующее утро Степа почувствовал, что ему впервые, наверное, не хочется идти на работу. Не было обычной бодрости, он все делал медленно и словно через силу.

Снова до обеда он таскался по цехам. Зайдя в седьмой цех проверить Попова, увидел, что тот, присев на корточки, возится с панелью, а над ним возвышается Костя. Подойдя поближе, Степа услышал:

— ...то я тебя, стервеца, за уши на воротах подвешу! Пускай люди смотрят!

«Зря он так,— устало подумал Степа.— Все слышат». Но вмешиваться не стал, прошел мимо, бессознательно отыскивая взглядом Надю: она работала в этом цехе.

Но он ее не увидел и, подойдя к выходу, тупо перечитал список социалистических обязательств, принятых цехом на второй год пятилетки. Помимо всего прочего, коллектив седьмого цеха обещал охватить профтехучебой не менее пяти человек и повысить уровень производительности труда на два процента против плана. «Смогут ли? — усомнился он.— Ну ничего, раз обещали — сделают...» Он поймал себя на том, что продолжает стоять и смотреть на список обязательств, а думает в это время о чем-то таком, что не имеет ни малейшего отношения к ним: о вчерашнем пожаре, о Наде, о том, что у Кости родилась дочка... Он вздохнул и пошел к выходу.

В дверях его догнал Костя и несильно толкнул в спину.

— Пошли схватим чего-нибудь?

Степа медленно повернулся и кивнул. Они направились к столовой, но в это время к ним подлетел толстенький краснолицый человек в телогрейке и шапке-ушанке.

— Вы, что ли, Сизов?! — закричал он, обращаясь не то к Степе, не то к Косте.— Я за вами по всей территории бегаю! Распишитесь в получении арматуры! — И он сунул Степе под нос какую-то бумажку.

— Так я ж ее не принимал,— будто оправдываясь, сказал Степа.— Мне надо посмотреть.

— Что ж я ее с собой таскать буду?! — закричал человечек.— А мне уезжать!..

— Иди обедай.— Степа огорченно взглянул на Костю.— Пойду, взгляну.

— Пошли вместе,— буркнул тот.— Пообедать человеку не дадут...

В столовую они пришли только к концу обеда, и там Степе сразу влетело от члена завкома.

— Слушай, Сизов,— веско сказал тот,— а почему твой цех на последнем месте по донорской работе? Непорядочек...

— Мы сдадим,— пообещал Степа и виновато улыбнулся.

Все, что с ним происходило, происходило как бы на поверхности, не затрагивая того серьезного и важного, о чем он, не отдавая себе отчета, думал все это время; за ежедневной текучкой и суетой стояло что-то такое, от чего настроение было паршивое.

— Обещаниями сыт не будешь,— строго сказал член завкома.

— Ты что, по себе судишь? — услышал Степа смех Кости.— Ну, за нас-то не очень беспокойся, мы слов на ветер не бросаем... Пошли, мастер!

Степа снова получил толчок в спину и пошел вперед.

Пока они обедали, говорил только Костя. Под конец он не выдержал:

— Ну, чего ты ноешь-то?! Ну, проработают!.. Что ты смотришь на меня, как больной?! Заделай дитё, как я,— меньше о всякой хреновине думать будешь.

— Не могли мы их вытащить,— задумчиво сказал Степа, когда они уже вставали из-за стола.— И Мигунову попадет.

— Мигунову не попадет,— уверенно заявил Костя.— Директор его в обиду не даст.

— Откуда ты знаешь?

— А случайно услышал, как он орал на кого-то по внутреннему: «Вы мне Мигунова не трогайте!.. Вы не понимаете специфики!» Ну и в таком духе. А уж если Григорий Семеныч захочет — он любого отмажет.

— Это хорошо! — обрадовался Степа за начальника цеха.

У выхода из столовой им встретился Василевский. Он, как всегда, внимательно посмотрел на Степу и, взяв за рукав, отвел в сторону.

— У вас, кажется, неприятности?

Степа покраснел. Он сразу понял, в чем дело, и заранее смущался, что придется отказываться.

— Да так...— протянул он.— Ничего страшного...

— Не скажите,— усмехнулся замдиректора.— Это дело сложное, его как повернуть...

— А что?..— Степа встревоженно поднял на него глаза.

— Вы, друг мой, как с Луны, простите... Очевидных вещей не понимаете. Из-за чего барак ваш загорелся? Замыкание... Так и вы, извините, не ведаете, что творите, вечно вас самого замыкает, куда-то заносит. Тоже в один прекрасный день сгорите, как свечка. Есть такие, с кем вы... не очень ладите?

— Нет,— легко и уверенно ответил Степа.— Я со всеми — хорошо.

— Ох, наивная душа... Ну ладно, я позвоню, чтобы вас там не очень...

«Ну вот»,— тоскливо подумал Степа. Нужно было отказываться от непрошеного заступничества, а он не знал, как это сделать, и стоял потупившись, красный, как рак. А Василевский, приняв, видимо, его смущение за радость, повернулся и пошел к заводоуправлению. Степа несколько секунд смотрел ему в спину, потом выкрикнул:

— Евгений Иванович!

Василевский обернулся и вопросительно взглянул на него.

— Вы... не надо...— выдавил из себя Степа.— Не звоните.

Он боялся посмотреть в лицо заместителю директора. Некоторое время тот молчал, потом бросил:

— Как знаете.— И ушел.

— Чего ему от тебя надо было? — ревниво спросил Костя.

— Да он хотел заступиться за меня. Чтобы комиссия эта...

— А ты, конечно, отказался?

— Ага.— Степа посмотрел на Костю, стараясь понять, одобряет он это или нет.— Я не виноват, и незачем за меня заступаться,— мрачно сказал Степа.

— А если тебя, невиноватого, взгреют? Это лучше?!

Степа вздохнул и промолчал.

...Комиссия в составе шести человек работала всю среду и половину четверга.

В четверг после обеда в цех заскочил Извеков и озабоченно сказал Степе:

— Сейчас они там посовещаются, потом тебя вызовут. Ты у нас как свидетель проходишь. Так что из цеха — ни ногой.

— Ну и как там?.. — начал Степа.

Извеков вздохнул и отвел глаза.

— Всяко,— коротко и неясно ответил он и ушел.

Через полчаса Степу вызвали в кабинет начальника цеха. Там было семь человек. Из всей комиссии Степа знал только троих: главного энергетика, секретаря комсомольской организации комбината — того самого, который когда-то надевал ему на руку именные часы,— и Мигунова. Остальные были, видимо, посторонние.

— Садитесь, товарищ Сизов,— предложил ему большеголовый лысоватый человек и указал на свободный стул.

Степа застеснялся сидеть в середине комнаты и отодвинул стул в угол. Ему показалось, что члены комиссии отнеслись к этому неодобрительно, и он вопросительно взглянул на Мигунова. Тот ободряюще улыбнулся.

— Скажите, товарищ Сизов,— снова приступил к Степе большеголовый,— по каким причинам, по-вашему, возник пожар?

— Да из-за щита это...— промямлил Степа.— Точно. Заискрил, небось, контакт... Короткое замыкание — и...

— И из искры, значит... М-да... А для этого ведь нужны, так сказать, специфические условия, а? Благоприятные условия. Как считаете? Были они, эти условия?

— Да вообще-то были,— честно признался Степа.— Промасленная ветошь...

Большеголовый закивал, словно он давно это уже знал и спрашивал только за тем, чтобы проверить Степину искренность.

Потом стали говорить все вместе и кричать, и на Степу больше не обращали внимания. Он не услышал, о чем кричали члены комиссии; им овладело тупое безразличие ко всему, лишь изредка в сознании вдруг отчетливо прорезывалось чье-то возбужденное лицо. Это лицо раскрывало рот, что-то кричало, потом пропадало, и снова перед ним все сливалось в нечто одно — дергающееся и громкое.

Очнулся он словно от толчка. Кто-то трогал его за плечо.

— Товарищ Сизов, вы спите? — услышал он мягкий и несколько вкрадчивый голос.

— Нет,— быстро ответил Степа, вздрогнув.

— Так чего ж ты, парень, струсил-то? — громким, грубым голосом спросил его какой-то незнакомый мужчина.— И этому вашему...— он заглянул в бумажку.— Шибанову не дал материальные средства вывезти? Нехорошо, брат, не по-комсомольски.

«Начинается»,— тоскливо подумал Степа, и ему почудилось, что вся комиссия смотрит на него с немым укором, даже свои, знакомые. И от этого ощущения он весь сжался, напрягся и заговорил быстро, бессвязно, тонким голосом:

— Нет, нет, не могли, я знаю, я думал... И Шибанов, ну полез бы он, а у него дочка родилась... И барак рухнул тут же, не успели мы уйти, он и рухнул... Нет, не успели бы!..— «Они мне не верят»,— подумал вдруг Степа и упавшим голосом добавил: — Правда...

— Вы там прыгали перед ним два часа! — сказал тот же грубый голос.— Запросто успели бы. Ну, в крайнем случае обгорели бы маленько.

Степа ничего не ответил и лишь тоскливо посмотрел на своего обвинителя. «Кончали бы скорее»,— подумал он.

Тут встал Мигунов.

— Мне, уважаемый товарищ Барабанов,— сухо и внешне бесстрастно начал он,— сгоревшие панели жалко гораздо больше, чем вам. Для вас они — абстракция, нечто, имеющее просто нарицательную стоимость, а мне с ними необходимо было работать. Подчеркиваю: необходимо, а не просто желательно. Но вот этот товарищ, на которого вы так азартно нападаете, равно как и тот, другой, мне нужнее. И нужны они мне — да что мне: всем нам! — здоровые, а не «маленько обгоревшие». И если бы они полезли в огонь, я бы им в личное дело благодарность занес, а потом в этом самом кабинете три шкуры бы с них спустил!

Он сел, и сразу вскочил со своего места Барабанов.

— Вы мне не приписывайте, чего не надо! — крикнул он и погрозил Мигунову пальцем.— Я смерти им желаю, что ли?! Я считаю, что, ответственно подходя, сознательный работник должен все делать, чтобы сберегать народные средства! Я считаю, что в данном случае возможность сберечь народные средства была, но она не была использована!

— Варварство по отношению к себе есть варварство по отношению к коллективу,— туманно произнес Извеков.

Барабанов ошарашенно посмотрел на него.

— Вот и я говорю,— потише уже продолжал он,— что они у вас там, панели эти, на тележечки сложены были, их вывезти — минутное дело.

— А в это время крыша возьми да обвались,— негромко добавил кто-то.

— Но она не обвалилась,— заметил большеголовый,— и они успели бы.

— Да что тут воду лить?! — снова встал Мигунов.— Вопрос не в том, успели бы или не успели! Вопрос в том — могли ли они не успеть? И на этот вопрос есть вполне определенный ответ: могли!

— Точно! — сказал секретарь комсомольской организации.— Вопрос нужно ставить принципиально!

— Вот я и требую!..— снова начал Барабанов. Но большеголовый председатель комиссии, подняв ладонь, прервал его:

— Минутку. Вы можете быть свободны,— сказал он Степе.

«Будто не меня касается»,— прикрывая за собой дверь, с обидой подумал Степа.

— Вот я и требую,— уже из коридора услышал он голос Барабанова,— чтобы комсомол с принципиальных позиций обсудил поступок комсомольца Сизова!

Степе хотелось послушать, о чем будут говорить дальше, но ему стало стыдно стоять под дверью, он вздохнул и побрел в цех.

Его сразу обступили и наперебой стали расспрашивать.

— Кто такой Барабанов? — помолчав, медленно спросил Степа у всех сразу, глядя прямо перед собой.

— Зачем тебе? — спросили у него.

И все так же, уставившись куда-то невидящим взглядом, он задумчиво сказал:

— Я-то что... А вот Костя!.. У него дочка только что родилась...

Николай Савостин





Возвращение с промысла

Зима загаром обожгла
Лицо охотника-эвенка,
Оно кофейного оттенка,
А шевелюра, как смола.

Сорочка пенной белизны,
Костюм и галстук — все, как надо.
Вернулась из тайги бригада
Домой в преддверии весны.

Сидят с ним рядом кореша,
Оставив у крыльца упряжки.
Из голубой в горошек чашки
Он тянет водку не спеша.

Соленый хариус, таймень,
Грибы, брусника...
Славно дома!
По телу разлита истома,
От бани сладостная лень.

С ним рядом — тихая жена,
Худая, с трубкою старинной,
На платье темного сатина
Блестят медали, ордена.

Горит морозная пыльца,
Пылают синим светом тени.
Жуют, склонив рога, олени,
Переминаясь у крыльца...

✪

Словно жуткой утраты,
За которой беда,
Я пугался когда-то,
Как срывалась звезда.
И светился за нею
Скоро гаснущий хвост.
Сколько раз, холодея,
Я следил гибель звезд.
Но усвоил я все же:
Метеор не звезда,
А звезда пасть не может
Никогда.

✪

Декабрь. А все еще теплынь.
Вылазит вновь неторопливо
Уже без запаха полынь,
Уже нежгучая крапива.
Взошли со сроками не в лад —
Обвиснут утром на морозе.
И, как спасенье, снегопад
Зеленую укроет озимь.
Грозится гибелью тепло.
Тревога хлебороба гложет.
Ты знаешь, что добро, что зло!
Я тоже знал, как был моложе...

Семь мельниц

На имя словечка
Себе не нашла...
Люблю эту речку,
Хоть речка мала.

Ее не отпустят
Заботы семь дней:
С истока до устья
Семь мельниц на ней.

Сменяется зелень,
Но только всегда
Гудит в карусели
С натугой вода.

Речонке по силе
Крутить семь колес,
Вся в лене, как в мыле,
Как тяжеловоз.

Когда-то отчалил,
Трудился, как вол,—
Свои семь печалей
Еще не смолол.

Душа моя крутит
Свои жернова —
Семь мельниц, по сути,
И этим жива.

Винтовка

Урок из чистой прозы
В память мою вошел:
Приклад из березы,
С нарезами ствол.

Стебель да рукоятка —
Затвор разбираю вмиг;
Ремень прикреплен антабкой,
Граненый, как памятник, штык.

Дырявил мишеней фигуры,
Чтобы постичь наконец,
Что пуля, конечно,— дура,
Ну, а штык — молодец.

Вдалбливал помкомвзвода
Нам месяцами подряд:
Пройдешь все огни и воды,
Используя штык и приклад.

К щеке прижималась береза,
И грел меня наш металл,
Когда я за горе и слезы
Огонь во врага метал...

✪

Мы еженедельно шли в наряд,
Привыкая к мысли с каждым разом,
Что когда в тепле все люди спят,
Кто-то на посту стоять обязан.

И поныне в ночь пронзит огнем:
От дурного сна проснуться силясь,
Я пугаюсь, что проспал подъем —
Часовые без меня сменились.





...О самом для меня серьезном и волнующем

Здравствуй, дорогая редакция! Хочу поделиться с тобой своими мыслями о самом для меня серьезном и волнующем вопросе. Я учусь в 9-м классе. У нас в классе почти все комсомольцы. Я же еще не вступил. Хотя учусь нормально, общественных дел не сторонюсь. Но все дело в том, что в нашей школе комсомольцы почти не выделяются среди всех остальных. Если судить по нашим ребятам, то комсомолец должен только аккуратно платить взносы и несколько раз в году присутствовать на комсомольских собраниях. А вы бы посмотрели, что это за собрания! Мой друг комсомолец рассказывал, что когда они выбирали комсорга, то кого ни предлагали, каждый вскакивал и тут же давал самоотвод!

В общем, я решил вступить в комсомол только тогда, когда кончу эту школу и поступлю в институт или пойду работать. Уж там-то настоящие комсомольские организации.

Но есть же школы, непохожие на нашу! Пожалуйста, «Юность», расскажи хотя бы об одной. Пусть наши увидят настоящую комсомольскую работу, а потом посмотрят на себя. Может быть, они задумаются, что значит быть комсомольцем.

Александр ИВАНОВ

г. Саратов.

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ...

В одной из школ Норильска на комсомольском собрании ребятам предложили ответить на два вопроса: «Каким ты видишь сегодня комсомол?» и «Кого ты считаешь настоящим комсомольцем?». Ребята заспорили. Кто-то сказал: «В двадцатые — тридцатые годы комсомольцы ярче выделялись на фоне молодежи взглядами, суждениями и делами. У нас нет той самостоятельности, которая была у комсомольцев прошлых лет. Мы на них мало похожи. Я сужу по моим товарищам. Нередко вокруг себя видишь пассивных комсомольцев и тоже остаешься равнодушным. Конечно, многое зависит от каждого. Но как-то трудно переделать себя».

Об этом диспуте мы узнали из письма Раисы Луценко. Она обращается в редакцию с теми же вопросами, что и Александр Иванов: как сделать интересной школьную комсомольскую жизнь, как бороться с равнодушием?

Ответить однозначно на эти вопросы невозможно. Каждая школа, комсомольский коллектив отличаются своими индивидуальными чертами.

Я хочу рассказать о необычной работе комсомольцев 524-й школы города Москвы, где я побывала по заданию редакции.

Двенадцать лет назад, 31 августа, комиссия во главе с директором принимала эту школу. Из-за позднего времени заночевали в одном из классов. Вдруг ночью начался страшный звон — это летели стекла. Кто-то вел довольно меткий обстрел школы из рогаток. Наутро оказалось, что много окон осталось без стекол.

После этой ночи учителям стало ясно — спокойной жизни не будет.

Все пришлось начинать с нуля. Школа эта в новом микрорайоне. Никаких кинотеатров, домов культуры поблизости еще не было. Большинство учеников все свободное время проводило на улице (это и подозрительные компании и драки, некоторые мальчишки были на учете в детской комнате милиции). Нужно было как-то оторвать ребят от улицы, увлечь школьной жизнью. А. С. Макаренко предупреждал, что все плохое начинается с улицы. Главное, сделать





...О самом для меня серьезном и волнующем

Здравствуй, дорогая редакция! Хочу поделиться с тобой своими мыслями о самом для меня серьезном и волнующем вопросе. Я учусь в 9-м классе. У нас в классе почти все комсомольцы. Я же еще не вступил. Хотя учусь нормально, общественных дел не сторонюсь. Но все дело в том, что в нашей школе комсомольцы почти не выделяются среди всех остальных. Если судить по нашим ребятам, то комсомолец должен только аккуратно платить взносы и несколько раз в году присутствовать на комсомольских собраниях. А вы бы посмотрели, что это за собрания! Мой друг комсомолец рассказывал, что когда они выбирали комсорга, то кого ни предлагали, каждый вскакивал и тут же давал самоотвод!

В общем, я решил вступить в комсомол только тогда, когда кончу эту школу и поступлю в институт или пойду работать. Уж там-то настоящие комсомольские организации.

Но есть же школы, непохожие на нашу! Пожалуйста, «Юность», расскажи хотя бы об одной. Пусть наши увидят настоящую комсомольскую работу, а потом посмотрят на себя. Может быть, они задумаются, что значит быть комсомольцем.

Александр ИВАНОВ

г. Саратов.

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ...

В одной из школ Норильска на комсомольском собрании ребятам предложили ответить на два вопроса: «Каким ты видишь сегодня комсомол?» и «Кого ты считаешь настоящим комсомольцем?». Ребята заспорили. Кто-то сказал: «В двадцатые — тридцатые годы комсомольцы ярче выделялись на фоне молодежи взглядами, суждениями и делами. У нас нет той самостоятельности, которая была у комсомольцев прошлых лет. Мы на них мало похожи. Я сужу по моим товарищам. Нередко вокруг себя видишь пассивных комсомольцев и тоже остаешься равнодушным. Конечно, многое зависит от каждого. Но как-то трудно переделать себя».

Об этом диспуте мы узнали из письма Раисы Луценко. Она обращается в редакцию с теми же вопросами, что и Александр Иванов: как сделать интересной школьную комсомольскую жизнь, как бороться с равнодушием?

Ответить однозначно на эти вопросы невозможно. Каждая школа, комсомольский коллектив отличаются своими индивидуальными чертами.

Я хочу рассказать о необычной работе комсомольцев 524-й школы города Москвы, где я побывала по заданию редакции.

Двенадцать лет назад, 31 августа, комиссия во главе с директором принимала эту школу. Из-за позднего времени заночевали в одном из классов. Вдруг ночью начался страшный звон — это летели стекла. Кто-то вел довольно меткий обстрел школы из рогаток. Наутро оказалось, что много окон осталось без стекол.

После этой ночи учителям стало ясно — спокойной жизни не будет.

Все пришлось начинать с нуля. Школа эта в новом микрорайоне. Никаких кинотеатров, домов культуры поблизости еще не было. Большинство учеников все свободное время проводило на улице (это и подозрительные компании и драки, некоторые мальчишки были на учете в детской комнате милиции). Нужно было как-то оторвать ребят от улицы, увлечь школьной жизнью. А. С. Макаренко предупреждал, что все плохое начинается с улицы. Главное, сделать

«...дар пророчества, вот о чем с самой своей колыбели мечтало человечество...»

К. А. ТИМИРЯЗЕВ

ЯРЧЕ ТЫСЯЧИ СОЛНЦ

Шестнадцатого июля 1945 года в 5 часов 30 минут утра над пустыней Аламогордо (штат Нью-Мехико, США) возник огненный шар, становившийся с каждой минутой все больше и больше. Никто из двадцати человек, военных и штатских, находившихся в помещении контрольного поста в 16 километрах от места появления огненного шара, не заметил первой вспышки атомного пламени. Видно было только ослепительное белое сияние, отраженное от холмов и неба.

Шар между тем с каждой секундой увеличивался. «Великий боже! Сдается, что эти волосатые парни потеряли контроль»,— завопил кто-то из военных. Но и сами «волосатые парни» — ученые, среди которых было несколько всемирно известных, совершенно растерялись. Им показалось, что огненный шар не перестанет расти, пока не охватит небо и землю. Всеми овладел страх перед мощью взрыва. Человек вызвал к жизни невиданные ранее, фантастически могучие силы и испугался: справится ли он с ними.

Атомная энергия, о которой до этого знала лишь небольшая группа специалистов, властно ворвалась в жизнь миллионов людей. Сначала атомное, а затем и термоядерное оружие, атомные электростанции и корабли, перспектива неограниченных ядерных источников энергии — все это стало влиять на судьбы человечества. История науки и техники, пожалуй, не знает больше примеров, когда бы будущее наступало так «весомо, грубо, зримо».

Уместно спросить: это-то будущее столь явное, резко непохожее на все, что было вчера, предвидел ли кто-нибудь раньше? Были ли люди или хотя бы один человек, который предсказал бы то, что теперь потрясло мир?

Прежде всего стоит обратиться к тем, кто стоял у истоков наших нынешних знаний об атоме и, видимо, раньше и лучше всех знал, что от него можно ожидать.

Великий английский ученый Эрнест Резерфорд, одним из первых проникший в глубины вещества и много сделавший для приближения атомного века, утверждал, что человечество никогда не сможет воспользоваться внутриядерной энергией. Этого мнения Резерфорд твердо придерживался всю жизнь. Он умер в 1937 году, а через год в Германии Отто Ган открыл возможность расщепления атомного ядра с выделением колоссальной энергии.

Но даже после этого, в начале 1939 года, создатель известной каждому школьнику модели атома, выдающийся датский физик Нильс Бор указывал на 15 веских причин, в соответствии с которыми, по его мнению, практическое использование процесса деления атома невозможно.

В это же время один из самых крупных ученых нашего века, Альберт Эйнштейн, публично заявил, что он не верит в то, что атомная энергия может быть высвобождена. Это тем более странно, что теоретическая возможность превращения массы вещества в энергию была открыта еще в начале века. И открыл эту возможность... сам Эйнштейн.

Неужели так трудно предсказывать даже столь грандиозные свершения человечества?



В. АБЧУК,
профессор



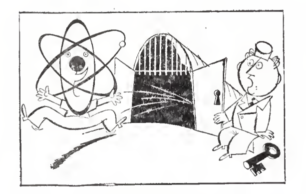
Рисунки И. ОФФЕНГЕНДЕНА.



ПРЕДВИДЕНИЯ НАОБОРОТ

Одна из моих самых любимых книг «Гиперболоид инженера Гарина». Каково же было мое разочарование, когда я в свое время прочитал труд довольно известного нашего ученого с интригующим названием: «О возможном и невозможном в оптике». В этой книге ученый утверждал, что аппарат Гарина — это не только выдумка (с этим еще можно было бы примириться), но что создание таких приборов вообще совершенно невозможно, что все описанное Алексеем Толстым противоречит законам природы. Ибо, писал ученый, чтобы получить луч, подобный гариновскому, нужна температура порядка миллионов градусов. А это, мол, не под силу человеку. Ведь даже на Солнце (Солнце!) температура не превышает 6000°.

А в 1960 году я узнал, что прибор, подобный гиперболоиду, существует. «Тонкий, с вязальную спицу световой луч» не только, как это было у Гарина, плавил и резал металл, но и нес на себе сообщения, вел хирургическую операцию и даже измерял расстояние до Луны.



В 1964 году советским физикам Николаю Геннадиевичу Басову и Александру Михайловичу Прохорову и американскому физику Ч. Таунсу была присуждена Нобелевская премия за работы в области квантовой радиофизики. Оптический квантовый генератор, или лазер,— так назвали ученые современный гиперболоид.

Приведенный пример неудачного предвидения, так сказать, «предвидения наоборот», увы, далеко не единичен.

«Все данные современной науки указывают на то, что никакие возможные сочетания известных веществ, известных типов машин и известных форм энергии не позволяют построить аппарат, практически пригодный для длительного полета человека в воздухе».

Эти странно звучащие сегодня слова принадлежат знаменитому американскому астроному Саймону Ньюкому. Я не решился после приведенного текста написать «великому», хотя именно так его именуют соотечественники. Это было сказано в те самые годы, когда русский моряк Можайский и земляки Ньюкома братья Райт, не зная «доказательства» ученого-астронома, прилаживали крылья к обычному двигателю. Появился один из первых «аппаратов, практически пригодных для длительного полета человека в воздухе»,— аэроплан.

А вот еще один «прогноз наоборот» на ту же тему. «Воображение народа часто рисует гигантские летающие машины, стремительно пересекающие Атлантический океан и несущие множество пассажиров. ... Можно без колебаний сказать, что такие идеи совершенно фантастичны; если какой-нибудь аппарат и переберется через океан с одним-двумя пассажирами, затраты на полет будут под силу лишь какому-нибудь капиталисту... Совершенно очевидно, что с теми средствами, какие сейчас имеются в нашем распоряжении, авиация не способна состязаться в скорости ни с паровозами, ни с автомобилями».

Не знаю, перелетал ли через Атлантику автор «прогноза» — известный американский астроном Уильям Пикеринг. Он дожил до 1938 года и при желании вполне смог бы это сделать.

Но вот аэропланы перестали поражать воображение людей. Занялась заря космической эры. Слова «ракета» и «межпланетные полеты» произносились рядом.

Появились и соответствующие антипрогнозы. «В наши дни беспрецедентных достижений вряд ли кто осмелится отрицать, что честолюбивый замысел Оберта можно осуществить до того, как угаснет жизнь человечества». Так было написано в 1924 году в одном солидном научном журнале об идее использования ракет для полетов в межпланетном пространстве. «Честолюбивый» профессор Герман Оберт, немецкий ученый — один из пионеров космонавтики, однако, не стал дожидаться, пока «угаснет жизнь человечества». На этот счет у него было свое мнение.

«Вы зажгли свет, и мы будем работать, пока величайшая мечта человечества не осуществится...»,— писал Оберт в 1929 году Константину Эдуардовичу Циолковскому.

Космическим ракетам, так же, как и другому великому свершению века — использованию внутриядерной энергии, особенно не везло с точными прогнозами. «По моему мнению, создание такой ракеты будет неосуществимым еще в течение многих лет... Я считаю, что мы можем отбросить всякие помыслы о создании такой ракеты. Я хотел бы, чтобы американцы перестали о ней думать».

Это отрывок из доклада одного из руководителей американских научных исследований, доктора Ванневара Буша, сенату США в 1945 году. Между тем до полета Гагарина оставалось всего 16 лет.

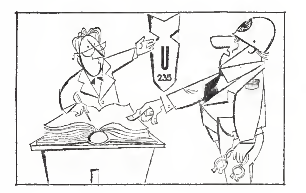
Хрестоматийным примером неудачного прогноза служит вошедшая в историю науки речь Вильяма Томсона, лорда Кельвина, президента Лондонского королевского общества (английской академии наук). «...Сегодня можно смело сказать, что грандиозное здание физики — науки о наиболее общих свойствах и строении неживой материи, о главных формах ее движения — в основном возведено. Остались мелкие отделочные штрихи...» Речь эту сэр Вильям держал перед своими коллегами академиками в канун нового, 1900 года — начала насыщенного небывалыми научными открытиями XX века. При всем уважении к выдающемуся ученому (он в свое время открыл не что-нибудь — электрон) трудно сдержать улыбку, услышав эти слова сегодня.

Теория относительности, квантовая механика, электроника, полупроводники, атомная энергия, физика космоса — вот оно, здание физики XX века, известное сегодня любому старшекласснику. Ну как не вспомнить тут саркастическое замечание Анатоля Франса: «Наука непогрешима, но ученые постоянно ошибаются».

...Я кончал школу в 1945-м — последнем году войны. Уже был расщеплен атом. В воздух поднялись первые ракеты. Теория относительности овладела умами миллионов людей. А в учебнике физики Фалеева и Пёрышкина, по которому мы занимались, все еще было, как во времена лорда Кельвина: ни слова об атомной энергии, но зато несколько страниц с картинками посвящено описанию фотографического аппарата — чуда техники XIX века.

Да, нелегко заглядывать в будущее!

И все-таки существовали люди, сумевшие предвидеть наступление века атома. Один из них — не ученый-физик, а малоизвестный нашим читателям аме-



риканский писатель-фантаст Роберт Хайнлайн. В 1941 году, за четыре года до Хиросимы, в повести «Злосчастное решение» он изобразил, как американцы создадут из урана-235 бомбу и сбросят ее в конце войны на крупный город противника. Изображение было столь ярким и подробным, что писателя привлекли к ответственности за разглашение военной тайны — в США и Англии уже начали в строжайшем секрете развертываться работы, приведшие впоследствии к созданию атомного оружия.

Итак, некоторые выдающиеся физики, чьими трудами готовился атомный век, оказались бессильны в прогнозе будущего, а вот писатель — не специалист! — был на высоте. Таковы факты. Факты довольно странные, не правда ли?

Попытаемся, однако, в этих фактах разобраться. И прежде всего обратимся к научной фантастике. Ведь именно здесь мы встретили столь удивительно сбывшееся предвидение. Так не на кончике ли пера писателя-фантаста проявляется завтрашний мир?

ОШИБКА ЖЮЛЯ ВЕРНА

Писатель-фантаст предсказал атомную бомбу, а выдающиеся ученые-специалисты не смогли этого сделать. Ну и что же из этого вытекает? Не просматривается ли здесь некая закономерность, правило предвидения? А может быть, писателю просто повезло, выпал такой счастливый случай?

Так вот, литературоведы как-то подсчитали, что из 108 фантастических идей Жюля Верна ошибочными или принципиально неосуществимыми оказалось только десять. В 98 случаях предвидение оправдалось. У автора «Человека-невидимки» и «Войны миров» Герберта Уэллса сбылось (либо, по данным современной науки, обязательно сбудется) 75 предсказаний из 86. Советский писатель-фантаст Александр Беляев, создавший книги «Человек-амфибия» и «Прыжок в ничто», является автором по крайней мере 47 верных прогнозов из 50 сделанных.

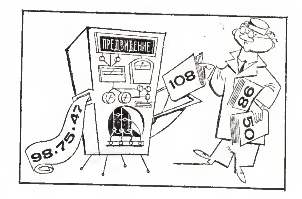
Все эти прицельные попадания говорят сами за себя. Научная фантастика смело может быть названа первым разведчиком будущего. Но...

Рассказывают, что вскоре после того, как книга Жюля Верна «20 тысяч лье под водой» увидела свет, в книжных магазинах Парижа появился странный покупатель. Необычность его поведения заключалась в том, что он просил продать ему все, какие только были в магазине, экземпляры книги о подводном плавании капитана Немо. Увы, книг в магазинах уже не было: то, что принадлежало перу Жюля Верна, на полках не залеживалось. И оптовый покупатель вынужден был уходить ни с чем.

Кто же был этот странный книголюб?

В замечательном описании подводной лодки Верн намного опередил свое время, уверенно заглянул в завтрашний день. Можно не соглашаться с некоторыми расчетами, сделанными писателем, есть и отдельные досадные неточности, но несомненно одно: «Наутилус» для эпохи Жюля Верна — это корабль будущего. И по многим своим свойствам он остается кораблем завтрашнего дня и для нашего времени.

Но вместе с тем была у «Наутилуса» одна черта, нечто такое, что отбрасывало его далеко в прошлое, лишало тех сказочных преимуществ, о которых мечтал Жюль Верн. Дело в том, что «Наутилус» капитана Немо оказался безоружным перед лицом врага. Фантазия Жюля Верна была бессильна найти для любимого детища писателя достойное его оружие — оружие будущего. Допотопный таран — вот все, что мог противопоставить «Наутилус» противнику. Меж-



ду тем во времена Жюля Верна уже существовало грозное оружие, достойное легендарного корабля.

Когда книга о «Наутилусе» увидела свет, Жюль Верн узнал из печати о том, что еще несколько лет назад, вначале русский механик Иван Федорович Александровский, а затем английский инженер Роберт Уайтхед, независимо друг от друга создали самодвижущуюся мину-торпеду. Торпеда явилась наиболее совершенным оружием своего времени. Тот, кому доводилось побывать в Военно-морском музее в Ленинграде, наверняка обратил внимание на блестящий стальной цилиндр длиной более трех метров и диаметром около полуметра. Имея у себя на борту такой цилиндр, подводная лодка вовсе не должна была бы подходить к кораблю противника вплотную. Торпеда уверенно и достаточно быстро сама пойдет к цели и взорвет свой заряд в самом уязвимом месте вражеского корабля — у его днища. Уже первые торпеды поражали неприятеля с расстояния более полукилометра. У военного корабля появилась длинная мощная рука.

Жюль Верн, конечно, не мог не осознать решающих преимуществ самодвижущейся мины по сравнению с примитивным тараном. На фоне торпеды оружие «Наутилуса» может показаться просто смехотворным.

Но что же делать? «Наутилус» уже отправился в плавание навстречу читателям. И Жюль Верн решился. Это он в тревоге бросился по книжным магазинам скупать свою книгу. И слава на этот раз подвела великого писателя: книга уже жила своею собственной жизнью.

Так и пошел плавать на долгие годы по морям и океанам «Наутилус» капитана Немо с древним наивным тараном вместо современного грозного оружия, «Наутилус», напоминающий нам о том, как трудно предвидеть будущее.

Трудно, но не невозможно.

Раскройте следующий том трилогии Жюля Верна и читайте: «Огромный водяной столб, нечто вроде смерча невиданной силы, приподнял бриг, который треснул пополам, и через десять секунд волны поглотили судно...»

И дальше говорится о том, что на месте взрыва колонисты «Таинственного острова» обнаружили «обломок металлического цилиндра». Это было новое оружие «Наутилуса» — оружие будущего.

Жюль Верн не забыл свою оплошность. Более того, мне кажется, что эпизод из романа «Таинственный остров», в котором рассказывается о потоплении пиратского брига с помощью торпеды, введен Жюлем Верном в новую книгу не случайно. Введен для того, чтобы не оплошать перед будущим.

Оплошности перед будущим всегда неприятны.

Ведь завтрашний день обязательно наступает, и цена предвидения становится ясной всем.

Итак, оказывается, ошибаются не только гениальные ученые, но и писатели-фантасты, даже самые прозорливые. И вместе с тем нельзя отрицать, что как те, так и другие способны делать удивительно верные предсказания.

Так в чем же дело? Кто же все-таки способен найти «окно в будущее»?

СЛЕДОПЫТЫ БУДУЩЕГО

В августе 1973 года в один из банков Стокгольма ворвался грабитель, вооруженный автоматом. Совершить ограбление ему все же не удалось: вовремя подоспела полиция. Преступник, однако, не растерялся. Он засел в подвале банка, захватив с собой несколько заложников. Угрожая убить захваченных людей, грабитель выдвинул ряд наглых требований: освободить из тюрьмы и доставить к нему в подвал его дружка; выдать им на двоих три миллиона крон и два пистолета; дать возможность обоим скрыться.

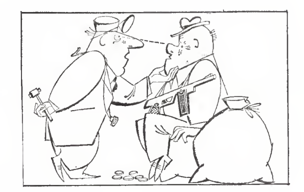
Стокгольмской полиции предстояло сделать нелегкий выбор: попытаться ли взять преступника, рискуя жизнью заложников, или выполнить все его требования, отложив встречу с ним до более благоприятного случая. Решение этой необычной задачи целиком зависело от того, как себя будет вести грабитель: действительно ли он пойдет на убийство заложников или это лишь пустая угроза.

Полиция в полном соответствии с духом времени обратилась за помощью к науке. За это дело взялся профессор социальной медицины, психолог, доктор Нильс Бейерут. Прежде всего он стал внимательнейшим образом изучать личность преступника. Выяснилось, что этот человек чрезвычайно опасен: он уже ранее дважды без колебаний стрелял в полицейских. В здравом ли он уме? Если он окажется ненормальным, то вряд ли удастся предвидеть его дальнейшее поведение. Профессор Бейерут, рискуя получить пулю, спустился в подвал и вступил с преступником в переговоры. Из беседы профессор понял, что это психически нормальный человек, действия которого, с точки зрения преступника, вполне разумны и логичны.

Прогноз психолога был достаточно определенным. Он уверенно предсказал, что грабитель не станет убивать заложников, несмотря на свои угрозы. Одно дело — спасая свою шкуру, стрелять в полицейских, совсем другое — убивать ни в чем не повинных людей, рискуя тут же быть самому убитым полицией.

...Когда после шестидневной осады полиция ворвалась в подвал, преступник капитулировал, не расстреляв даже всех патронов. Заложники остались невредимы. Ученый оказался прав. Откуда же он знал, как поведет себя преступник?

Внимательные люди давно заметили, что, как бы сложно явление ни было, в нем всегда просматривается некий порядок. Все то, что происходит в мире, подчиняется каким-то определенным правилам, живет по своим законам. Стоит любому из нас нагреть воду до 100°, и она закипит. Утюг, кто бы его ни уронил, полетит всегда вниз, а не вверх. Твердые правила имеет даже своенравная монета, которая каждый раз падает неожиданным образом. Можете, например, смело утверждать, что монета упадет гербом кверху хотя бы один раз из десяти. И кто бы монету ни бросал, она обязательно выполнит это ваше предсказание. Таков ее закон.



Профессор исходил из того, что и поведение человека в определенных условиях тоже не может выйти за рамки твердо установленных правил. В данном случае — правил психологии. Эти-то правила и дали возможность верно предвидеть, предсказать, как поведет себя преступник.

Изучением таких правил-законов природы и общества занимается Наука. Знание законов, управляющих миром, позволяет уверенно искать и находить грядущее. Отыскивая в сегодняшнем дне приметы дня завтрашнего, ученые действуют подобно следопытам — следопытам будущего.

Случайна ли связь предвидения с наукой? Очень хорошо сказал об этом известный французский математик Эмиль Борель: предвидение есть цель науки; более того, как только оно становится невозможным, мы оказываемся за пределами науки.

Величайшие научные предвидения принадлежат основоположникам научного коммунизма К. Марксу, Ф. Энгельсу, В. И. Ленину.

Выступая при открытии памятника К. Марксу и Ф. Энгельсу 7 ноября 1918 года, В. И. Ленин говорил: «Великая всемирно-историческая заслуга Маркса и Энгельса состоит в том, что они научным анализом доказали неизбежность краха капитализма и перехода его к коммунизму, в котором не будет больше эксплуатации человека человеком... Мы переживаем счастливое время, когда это предвидение великих социалистов стало сбываться».

В. И. Ленин был мастером широкого и долговременного социально-политического прогноза глобальных масштабов. Классическим примером научного политического предвидения является вывод Ленина о возможности победы социалистической революции первоначально в одной или нескольких странах.

«Неравномерность экономического и политического развития,— писал Ленин,— есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране». Это предвидение подтверждено историей нашего Советского государства, замечательное 60-летие которого празднуется в нынешнем году.

Особое значение предвидение приобретает в наше время, в век научно-технической революции. Человек получил в руки могучие силы и должен использовать их наилучшим образом. Уметь предвидеть, какими будут завтра материалы и энергия, промышленность и сельское хозяйство, транспорт и связь, необходимо для того, чтобы правильно составлять наши пятилетние планы, находить самые короткие пути, ведущие к коммунистическому изобилию.

Итак, предвидение — итог познания закономерностей окружающего нас мира, результат научного мышления.

Научное мышление не является монополией ученых. Замечательные предвидения писателей-фантастов — яркий тому пример.

Но кто бы ни был провидец по профессии, несомненно одно: проникновение в завтрашний день неимоверно трудно и поэтому дается далеко не каждому, будь то человек науки или литератор. Дело в том, что, помимо глубоких знаний и наблюдательности, предсказание будущего требует совершенно особых качеств.

СЕКРЕТ ПРЕДВИДЕНИЯ

Французский философ XIX столетия Огюст Конт, которому принадлежит афоризм: — «Знать, чтобы предвидеть. Предвидеть, чтобы действовать», — не всегда следовал этому своему призыву. Имея в виду будущее познание человеком небесных тел, Конт писал: мы никогда не узнаем ничего о химическом или минералогическом строении звезд... Они служат нашей науке только тем, что предоставляют ориентиры.

Для того дня это утверждение было верным: человечество не имело ни одного средства, с помощью которого можно было бы на расстоянии заглянуть внутрь бесконечно далеких светил, а тем более произвести их химический анализ. И очень трудно было себе представить путь, идя которым это можно было бы сделать.

Трудно, но возможно. Ибо такой путь уже существовал.

Еще в XVII веке, за два столетия до Конта, великий Ньютон произвел первые наблюдения над спектром солнечных лучей. Так было положено начало спектроскопии — науки о спектрах.

Во времена Конта идея спектрального анализа, дающего возможность по свету далеких звезд узнать об их химическом строении, буквально «висела в воздухе». Связь, существующая между спектром и свойствами вещества, была открыта в 1859 году, всего через два года после смерти Огюста Конта...

Конт мог бы избежать ошибки, лишь решительно отказавшись от привычного представления о химическом анализе исключительно как о пробе вещества, смело предположив, что возможны и иные пути исследования — спектроскопические. Такой прогноз мог быть сделан уже в его время. Для этого требовалось особое качество — дерзость мысли.

В век научно-технической революции, когда поиском нового в мире одновременно занимаются легионы самых умных, до зубов вооруженных знаниями людей, сказать вещее слово не так-то просто. Это может сделать лишь тот, кто дальше всех уйдет от испытанной колеи привычных представлений в пугающее бездорожье неизведанного.

«Нет никакого сомнения, что перед нами безумная теория. Вопрос состоит в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть правильной». Так говорил весной 1958 года Нильс Бор, обсуждая с коллегами вопросы единой теории элементарных частиц. Теории, одной из главных задач которой должно быть предсказание новых, еще никому не известных частиц материи, предвидение их строения и будущего поведения.

Впрочем, Бор был не первый, кто заговорил о безумных идеях первооткрывателей.

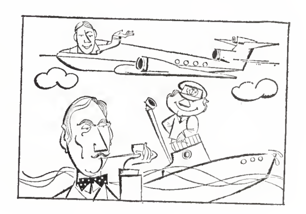
«Можно сделать такие приборы, с помощью которых самые большие корабли, ведомые всего одним человеком, будут двигаться с большей скоростью, чем суда, полные мореплавателей. Можно построить колесницы, которые будут перемещаться с невероятной быстротой без помощи животных. Можно создать летающие машины.., а также машины, которые позволят человеку ходить по дну морскому...» Эти слова написаны в XIII веке (тринадцатом, мы не оговорились), более чем за полтысячи лет до автомобиля и самолета, парохода и подводной лодки.

Что же дало возможность Роджеру Бэкону, выдающемуся английскому мыслителю, сделать эти воистину фантастические пророчества? Дерзость мысли, смелость ума? Безусловно. Но еще и волшебный дар воображения. Именно воображение позволило Бэкону разглядеть все эти будущие свершения человеческого гения сквозь тьму средневековья, стену невежества и густой религиозный туман.

Удивительным воображением обладал гениальный итальянский художник, ученый и инженер Леопардо да Винчи, живший пятьсот лет тому назад. Ему удалось предвидеть то, что появилось лишь много лет спустя. В записных книжках Леонардо можно найти описание ткацкого станка и печатающей машины, парашюта и вертолета. Ученому принадлежат крупные открытия в анатомии, ботанике, физике, астрономии. Столь необычные прозрения великого итальянца дали повод одному из наших современников предположить, что своими открытиями Леонардо да Винчи, мол, обязан пришельцам из космоса — представителям высокоразвитой цивилизации; инопланетяне-де поведали Леонардо о своих достижениях и улетели. Но возникает вопрос: куда пришельцы направились потом? Не двинулись ли они прямиком в XVIII век, к нашему соотечественнику Михаилу Васильевичу Ломоносову? Ведь Ломоносов также намного опередил свое время. Ему принадлежит открытие теории сохранения вещества и движения, о которой ранее ничего не знали. Глазам нашего великого земляка открылось будущее физики и химии, оптики, астрономии, электричества, географии. Он предугадал возможность прохода судов Северным Ледовитым океаном из Белого моря в Индию. И без воображения Ломоносову никак нельзя было этого сделать.

Воображение необходимо для того, чтобы оторваться от окружающей привычной действительности, подняться высоко над сегодняшним днем и там, далеко за горизонтом, в туманной дымке увидеть грядущее завтра. Воображение — это те черты, те свойства характера, которые дают возможность сделать самые, казалось бы, невероятные предположения о будущем. Предположения, которые тем не менее сбываются.

Свойство это очень хорошо развито у писателей-фантастов. Может быть, именно поэтому так часто и, как мы видели, правильно предсказывают они будущее.



Воображение, однако, помогает не только литератору, работающему в области научной фантастики. Любой прорыв мысли в будущее обязательно связан с работой воображения. Ибо действительность завтрашнего дня всегда фантастична. Стоит отказать воображению, и картина будущего начисто утрачивается, теряется его достоверность. И вот что из этого получается.

«Аэронавтика никогда не станет серьезным средством транспорта и связи» ...«Воображение отказывается представить себе какую-либо подводную лодку, в которой не задохнулся бы экипаж, а сама она не пошла бы на дно... Вы можете выпустить торпеду или какой-либо другой снаряд, имея не больше шансов поразить цель, чем при стрельбе с завязанными глазами». Не поднимается перо, чтобы написать имя автора этих убогих «пророчеств», сделанных в 1902 году в книге, название которой — «Предвидения» — сейчас звучит довольно комично. Это Герберт Уэллс — провидец, которому на этот раз отказало воображение.

Воображение не просто игра ума, вольный полет фантазии, мечта о прекрасном. Оно нечто неизмеримо более значительное.

«Все, что человек способен представить в своем воображении, другие сумеют претворить в жизнь». Эта важнейшая мысль принадлежит Жюлю Верну. А он-то знал толк в этом деле.

Стоит вспомнить ковер-самолет, который стал аэропланом, волшебное зеркало — телевизором, сапоги-скороходы — автомобилем. Все это веками жило в воображении людей, не противоречило законам природы — и вот сбылось. По этой же причине можно ожидать и полетов к звездам, путешествий в будущее и даже достижения человеческого бессмертия.

То, что сегодня кажется фантастическим, совсем не означает невозможности его осуществления в грядущие времена. Сделанное людьми даже только за нашу жизнь, на наших глазах — атомные корабли, полет в космос, высадка на Луну — столь фантастично, что будет логичным предположить, что и дальнейшие свершения будут по крайней мере не менее удивительными и неожиданными.

Так мы убеждаемся, что человеческая фантазия, игра воображения — весьма действенный инструмент предвидения. И еще одно: для того, чтобы верно предсказать будущее, необходимо обладать чувством реальности. Неоправданный оптимизм, чрезмерная восторженность столь же противопоказаны правильному прогнозу, как и отсутствие воображения.

Человеку вообще свойственно принимать желаемое за действительное. Сколько раз нам приходилось слышать бодро-оптимистические предсказания такого примерно рода: не пройдет и трех лет, как человечество победит грипп; новое лекарство спасет нас от рака; лет через десять научимся управлять погодой.

Своеобразный рекорд восторженности установил американский прогност Стайн: «К 1981 году под контролем одного человека будет находиться такое количество энергии, которое эквивалентно всей энергии, выделяемой Солнцем». «Каждый, кто родится после 2000 года, будет жить вечно, если, конечно, отбросить несчастные случаи».

Итак, дерзость ума, развитое воображение, чувство реальности — вот качества, довольно редкие в одном человеке, но не настолько, чтобы объяснить исключительную трудность предвидения.

Разобраться в причинах этой трудности нам поможет довольно необычный мысленный эксперимент.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ НА ВДНХ

Вообразим на минуту, что в Москву на Выставку достижений народного хозяйства — ВДНХ — попадает один из выдающихся умов прошлого, например, Леонардо да Винчи. Экскурсовод, ничуть не удивившись несколько экстравагантному иностранцу, показывает великому флорентийцу автомобиль, вертолет, телевизор, рентгеновский аппарат, атомный реактор.

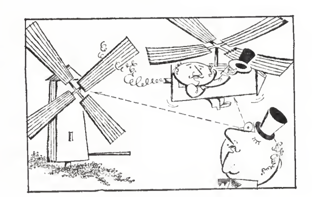
Леонардо довольно быстро разбирается в устройстве автомобиля: цилиндры, поршни, механическая передача — почти все понятно. Вертолет просто радует итальянца — очень похожий есть в его альбоме. А вот с телевизором гениальный ученый не может разобраться никак. На его лице недоверие — уж не колдовство ли это? Как смогли попасть в деревянный ящик люди, что то и дело появляются за стеклом экрана? Какой волшебник их туда упрятал, сделал маленькими, словно гномов?

Могучий ум средневекового ученого не в состоянии понять, как все это происходит. Еще загадочнее рентгеновский аппарат: заглянуть внутрь живого человека — такого не было даже в сказках. Не лучше обстоит дело и с атомным реактором — сердцем многих современных электростанций, океанских кораблей, ледоколов, подводных лодок. Откуда берется в нем энергия? Почему не заметно ни пламени, ни расхода топлива?

Техника XX века, электроника, ядерные реакции выше понимания человека, даже гениального, если он не знаком с электричеством, не знает, что такое радио и как устроен атом. То, что вошло в наше сознание с детства, со школьной скамьи, для людей даже прошлого столетия, богатого открытиями, кажется совершенно непостижимым чудом.

В результате нашего мысленного эксперимента можно сказать: ни Леонардо, ни тем более его современники не смогли бы в свое время предвидеть и тысячной доли того, чем наполнен окружающий нас сегодня мир. Слишком уж большой скачок сделали наука и техника за прошедшие пять веков. А ведь со времен Леонардо да Винчи сменилось всего 15—20 поколений людей. Совсем немного. Предки каждого из нас по прямой линии, начиная с тех времен и до наших дней, свободно разместились бы в небольшой комнате.

И тем не менее предвидение на такой большой срок — 500 лет — оказывается невозможным. Да что на 500 лет! Некоторые свершения современной нам науки показались бы невозможными и Ньютону, и Фарадею, и даже Эдисону, которых от нас отделяет значительно меньшее время.

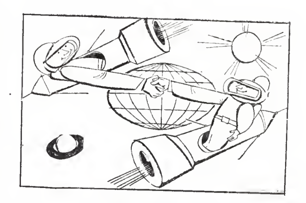


Всякое развитие, в том числе и развитие науки и техники, идет прежде всего путем постепенного накопления небольших количественных изменений. Предсказывать будущее при таком простом количественном росте довольно нетрудно. Сейчас на галере 10 гребцов, в будущем ожидай нескольких десятков, сегодня одна лошадиная сила в двигателе — завтра жди больше.

Не всегда, конечно, количественный рост проявляется столь явно. Однако можно все же найти связь между такими сходными явлениями, как вращение лопастей ветряной мельницы и винтом вертолета или электромагнитной индукцией в мотке проволоки и электродвигателем. Многое здесь может подсказать и природа: стоит лишь мысленно увеличить крылья парящей птицы — и готов самолет, подводная лодка похожа на большую рыбу, летящее семя одуванчика напоминает парашют. Все это создает почву для предвосхищения будущего.

К сожалению, такое предвидение возможно далеко не всегда. Люди давно заметили, что развитие не исчерпывается простым количественным ростом. В какой-то момент оно приводит к тому, что появляется нечто совершенно новое, не похожее ни на что из бывшего ранее: количество переходит в новое качество. Так было с появлением паровых судов, электричества, радиоволн, рентгеновских лучей, атомной энергии, полетами в космос. Овладение атомной энергией, например, явилось результатом изучения явления радиоактивности, открытия периодического закона Менделеева, количественного накопления знаний о внутренней структуре вещества. Предвидение в этом случае является исключительно трудным, а порой и совершенно невозможным делом.

Чтобы предвидение состоялось, оказывается, нужны еще объективные условия: не только сам предсказатель, но и окружающий его мир должен «созреть» для будущего. Лишь в этом случае рождаются удивительные предсказания.



УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ

«Я просто поражаюсь, как правильно мог предвидеть наш замечательный ученый все то, с чем только что довелось встретиться, что пришлось испытать на себе. Многие, очень многие его предположения оказались совершенно правильными». Так говорил первый в мире космонавт Юрий Гагарин корреспонденту «Правды» на следующий день после своего полета. Вряд ли найдется в истории человечества пример, когда бы пророчества сбывались столь точно!

Кто же был тот «замечательный ученый», что сумел заглянуть в недоступную заоблачную высь космоса, предсказать неведомое никому на Земле? Как ему это удалось?

Человеком, обладавшим всеми необходимыми качествами для того, чтобы предвосхитить космические полеты, приблизить воплощение крылатой мечты многих поколений землян, был Константин Эдуардович Циолковский. Всем редким своим складом мечтателя и реалиста одновременно он был как нельзя лучше подготовлен для решения подобной задачи.

Объективная возможность такого предсказания, основанного не только на интуиции, но и на точном расчете, появилась лишь в начале XX века благодаря успехам науки и техники богатого свершениями девятнадцатого столетия.

Вот лишь некоторые из поразительных космических провидений К. Э. Циолковского, большинство которых наука сумела оценить только в наши дни. Электрические и атомные космические корабли. Многоступенчатые ракеты. Внеземные космические станции. Автоматические системы управления ракетой. Газовые ракетные рули. Межпланетные путешествия. Система ориентации в космосе. Состояние невесомости. Индустрия в космосе. Аэродинамический нагрев ракеты. Даже такой факт, как содружество разных стран в покорении космоса.

Герои-космонавты из повести Циолковского «Вне Земли» — это француз со знаменитым именем Лаплас, англичанин Ньютон, немец Гельмгольц, итальянец Галилей, американец Франклин и русский Иванов. Двое последних — блестящий прогноз международного экипажа космической станции «Союз — Аполлон». Предвидение, которое сбылось без малого через 60 лет!

И наступление атомного века, с описания которого мы начали свой рассказ, тоже, оказывается, было предугадано учеными. Когда появились объективные условия для овладения энергией атома, наука сказала свое слово.

В октябре 1941 года выдающийся советский физик академик П. Л. Капица в лекции, которая была опубликована многими газетами, заявил: «Теоретические подсчеты показывают, что... атомная бомба... может легко уничтожить большой город с несколькими миллионами жителей». Эти предвидения были сделаны задолго до взрывов в Аламогордо, Хиросиме и Нагасаки.

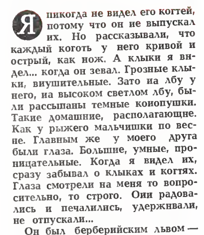
Мы снова и снова убеждаемся в том, что предвидения, даже самые невероятные, с точки зрения современников, возможны.

«Мочь и предвидеть,— писал великий русский ученый К. А. Тимирязев,— дар чудодействия и дар пророчества, вот о чем с самой своей колыбели мечтало человечество... Эти два дара принесла ему наука...»



ЛЕВ, НЕ ВНУШАЮЩИЙ СТРАХА





Я никогда не видел его когтей, потому что он не выпускал их. Но рассказывали, что каждый коготь у него кривой и острый, как нож. А клыки я видел... когда он зевал. Грозные клыки, внушительные. Зато на лбу у него, на высоком светлом лбу, были рассыпаны темные конопушки. Такие домашние, располагающие. Как у рыжего мальчишки по весне. Главным же у моего друга были глаза. Большие, умные, проницательные. Когда я видел их, сразу забывал о клыках и когтях. Глаза смотрели на меня то вопросительно, то строго. Они радовались и печалились, удерживали, не отпускали...

Он был берберийским львом — самым редким, самым крупным, самым красивым. Слово «зверь» не подходило к нему. Казалось, его род ведет начало от мифических грифонов или кентавров. Кинг не был ни укрощенным, ни дрессированным, ни ручным. Он был домашним, очеловеченным, а в семье Берберовых—младшим по возрасту. Младше маленького Ромки. И вместе с тем привязанность к людям не лишала льва чувства собственного достоинства. Его нельзя было подозвать, как собаку, и запросто погладить, как кошку. Лев оставался львом. Он не терпел панибратства. Он никогда не огрызался, просто, если ему что-то не нравилось, поворачивался и уходил. Весь его величественный облик устанавливал определенную дистанцию между ним и гостем. Только по мере возникновения дружбы эта дистанция уменьшалась. И, наконец, пропала. В последний раз я уже кормил льва с руки. Это были счастливые минуты. Я ждал их несколько лет. Большой, теплый, шершавый язык касался моей ладони, накрывал ее всю.

Все началось с того, что среди писем, пришедших от читателей на мою книгу-сказку «Лев ушел из дома», одно было от бакинского архитектора Берберова. Лев Львович писал мне, что у него дома живет молодой лев по имени Кинг, и что Кинг удивительно похож на героя моей сказки, и что сама моя сказка вовсе не сказка, а скорее быль. Оказывается, я открыл Кинга, еще не зная о его реальном существовании.

Берберовы увидели в бакинском зоопарке умирающего львенка и решили, что должны его спасти. Наверное, унося домой этот маленький, жалкий комочек, они не представляли, что благодаря их усилиям он станет настоящим царем зверей, размером в два с половиной метра, весом в четверть тонны. Так в центре Баку, в обыкновенной двухкомнатной квартире, завелся лев.

Кое-кто усмехался: «Лев в квартире? Зачем? А если все заведут львов, что тогда будет?» Напрасно волновались. Никто, кроме Берберовых, не завел.

Будь Берберовы одиноки, может быть, не смогли бы они вылечить, выходить и прокормить льва. Но вместе с Кингом в доме Берберовых появилось много новых, преданных друзей, которые не страшились никакой работы и которых объединила любовь к Кингу.

И вырос великолепный, прекрасный лев.

Лев Львович Берберов человек уже не молодой. Всю жизнь он трудился, строил. За восстановление Донбасса награжден орденом Трудового Красного Знамени. И в нем упрочились фантазия первооткрывателя, упорство и бескорыстие трудового человека. Без этих замечательных качеств он не смог бы, постоянно борясь с трудностями, растить и воспитывать своего грозного питомца. Он и его верная помощница — «львиная мама» — Нина Петровна Берберова, педагог-филолог.

Вы когда-нибудь видели льва, играющего с малышом? Это не просто любопытное зрелище. Это — выражение огромного доверия, которое человек оказал зверю, новая, доселе неведомая ступень общения человека с природой. Победа разума и гуманизма. Глядя на маленького Ромку, который садился верхом на Кинга и безбоязненно совал ручонки в львиную пасть, я невольно вспоминал Маугли. И, честно говоря, завидовал Ромке. Обычно, вспоминая свое детство, люди говорят: «У меня был кот» или «Была собака». Ромка, спустя много лет, скажет: «А у меня в детстве был лев». Ромка наделен редким даром общения с животными. Он не только понимает по-львиному, но по-настоящему бесстрашен. Ведь они с Кингом играли «на равных». И может быть, благодаря другу-мальчишке, Кинг обрел так много человеческого.

На снимке: Кинг-второй.

До последнего дня скептики не переставали пророчить: «Подождите, в нем проснется зверь. Он съест кого-нибудь!» Но этот самый кровожадный зверь так и не проснулся в Кинге. Он был благородным львом. А благородство сильного — способность не прибегать к силе. Может быть, это главное, что удалось семье Берберовых воспитать в своем питомце. И еще они воспитали в грозном хищнике доверие к человеку. Безграничное доверие. Но именно это, чистое и прекрасное доверие, привело к трагедии...

Некоторые люди связывают любовь к животным с сентиментальностью, с чудачеством. Я же думаю, что любовь к нашим меньшим братьям — проявление благородства и мужества. У мужества есть две стороны — либо жестокость, либо гуманизм. Я слышал, как наши солдаты под Кенигсбергом нашли раненого, умирающего бегемота. Покидая город, фашисты безжалостно расстреливали питомцев зоологического парка. Раненый бегемот сумел уйти из города. Советские воины залечили ему раны, выходили. Определили в зоологический сад. Они не были ни чудаками, ни сентиментальными. Просто в сердце советского солдата мужество и гуманизм неразрывны.

Кинг спал в одной комнате с детьми Берберовых. Комната маленькая, но высокая. Лев устроился на антресолях. Он поднимался наверх по лестнице. Там было его логово, похожее на гнездо огромной птицы.

Кинг понимал много человеческих слов, по крайней мере не меньше любого домашнего животного. Но были в семье Берберовых и особые слова, понятные только Кингу. Вот несколько слов из берберовского львиного словаря: «ат» — нельзя, «ассарафа» — категорически нельзя, «тис-тис» — осторожно, «фыс-фыс» — не играй с чужим дядей, он боится. Было у Кинга много ласкательных имен — Кингуля, Тосик, Симба, Мальчик...

Кингу исполнилось три года. Государство помогало Берберовым прокормить льва. Нашелся для него старый списанный автобусик, чтобы вывозить льва на прогулку.

Однажды Кинга пригласили сниматься в фильме. Берберовы согласились. Они были уверены, что Кинг справится со своей новой ролью — ролью киноактера. У Кинга появилась работа, трудная и непривычная. Ему бы сыграть самого себя — доброго, общительного, доверчивого. А Кингу дали роль «свирепого хищника» — роль была не по сердцу. От Кинга требовали сложных трюков. И он делал их, потому что его просили люди. Единственно, с чем не справился Кинг,— он не мог «сыграть» свирепого льва. Ведь звери, как и дети, играют только самих себя. А Кинг был добрым.

Основные съемки проходили в Ленинграде. Потом переехали для съемок в Москву. Льва поместили в обыкновенной школе, не приспособленной для его содержания. Окна не огородили надежной решеткой. Охраны не было. Лев сыграл свою роль, он перестал интересовать съемочную группу...

Я много раз бывал в 74-й школе Гагаринского района, дружил с интересными ребятами из клуба «Бригантина». Читал им свои новые произведения. На этот раз не было ребят в школе — шли каникулы — и моим слушателем был Кинг. Я читал ему свой сценарий будущего фильма «У меня есть лев», в котором Кинг должен был играть роль Кинга. Вместе со львом сценарий слушали Берберовы. Кинг лежал на диване. Иногда он вздыхал. Не знаю, было ли ему скучно или мне удалось растрогать его? Только никогда в жизни у меня не было такого прекрасного слушателя.

А перед этим Кинг побывал у меня в гостях, в Красной Пахре. Мы ходили с ним в гости к пионерам, и он, вызывая восторг ребят, расхаживал рядом с ними. Потом Кинг сам принимал гостей, лежа под дубом возле моего дома. Ко льву приходили дети, приходили ученые, врачи, государственные деятели, писатели. Именно ко льву!

Кинг расхаживал под ветвями берез и кленов не как экзотический зверь, а как земляк. Он сидел на крыльце, как добрый сосед, заглянувший на огонек. Потом, утомившись, улегся в траву под молодым дубом. Дул ветерок. Из уважения к гостю мои собаки не лаяли. Люди ходили на цыпочках. И оттого, что лев был рядом, был так доверчив и доступен, на душе у всех возникал праздник. И ни у кого не возникал вопрос: «Зачем нужен лев, почему он живет в городе в одной комнате с двумя ребятами?»

Человек издавна стремился проникнуть в таинственный мир животных, недаром старые народные сказки так щедро населены зверями. В сказках звери разговаривают с человеком, активно участвуют в человеческих делах, помогают людям. Кинг кажется мне существом, пришедшим из сказки. Может быть, даже из моей сказки о льве, который ушел из дома. Но если перейти от языка лирического к языку научному, то эксперимент с Кингом, я убежден, стоит в ряду таких открытий, как проникновение в тайны тончайшей организации мозга дельфинов.

Берберовым удалось воспитать доверчивого, ласкового льва, в сознании которого все люди были друзьями. Вопреки злым пророчествам, в Кинге не пробудился хищник, он никого не съел. Произошел несчастный случай. Сад при школе не охранялся. Парень полез за яблоками. Увидел в окне льва. Стал дразнить его. А лев решил, что с ним хотят поиграть, вышел в сад. Парень смертельно испугался. Поднял крик. Милиционер выстрелил. Он стрелял метко, этот милиционер.

А у меня в памяти живой добрый лев—лев, с которым мне удалось подружиться. Умные, проницательные глаза. Конопушки, как у рыжего мальчишки. И потому что у меня был такой друг, я чувствую себя сильным, и жизнь мне кажется интересной.

У меня был такой друг... Но если вы сегодня приедете в Баку и отыщете на улице Мясникова дом четырнадцать, подниметесь на второй этаж и нажмете кнопку звонка на двери квартиры восемь,— дверь откроется, и вы увидите льва. Увидите льва, такого же прекрасного, с такими же умными глазами, такого же располагающего к себе, а главное, так же не внушающего страха, как и Кинг.

Это, пожалуй, точнее всего сказано: лев, не внушающий страха.

Таким был Кинг-первый, таким же стал Кинг-второй.

Он тоже попал в дом Берберовых маленьким львенком. Попал в те трудные для семьи дни, когда они переживали потерю своего любимца. Не знаю, может быть, у Берберовых есть какой-то секрет, помогающий из грозных хищников выращивать львов, не внушающих страха, но только Кинг-второй вырос таким же добрым и ласковым. Он ходит по квартире, играет с детьми и... снимается в кино. Он сыграл роль Кинга в моем фильме «У меня есть лев» и сейчас снимается в фильме-сказке, в той самой сказке, из-за которой началась наша дружба с Берберовыми и их львами,— «Лев ушел из дома».

Юрий ЯКОВЛЕВ

Марк
ТАРТАКОВСКИЙ



Хотите, я научу вас плавать?

Это очень просто — вес человеческого тела примерно равен весу вытесненной им воды. Попробуйте в неглубоком бассейне лечь на дно. Не выходит? Так я начинаю обычно занятия с новичками—с закона Архимеда. Человек тонет только потому, что не знает: лично к нему этот знаменитый закон применим тоже. И я, тренер по плаванию, должен убедить своего ученика, что это действительно так.

У меня благодарная аудитория — студенты одного из московских вузов. Студент — человек понятливый. Для того, чтобы сдать зачеты и, значит, заслужить стипендию, он обязан сдать и нормы ГТО. В их числе — норму по плаванию. Он должен сделать это в максимально короткий срок и старается. А я иду ему навстречу и стараюсь тоже. Это ведь так важно — научить человека плавать. Может быть, когда-нибудь это спасет ему жизнь. Конечно, тонуть приходится не каждый день, да ведь и жизнь длинна. А тонут, случается, один-единственный раз...

Ну, а если просто дать возможность парню, девушке почувствовать себя на пляже не хуже других?.. Ко мне иногда приходят учиться плавать и пожилые люди, преподаватели. А, научившись, проплыв первые полсотни метров, признаются, что лишь теперь избавляются от мучившего их десятками лет комплекса неполноценности.

С годами я отработал свою методику обучения: сначала учу плавать на спине. На одних ногах с дощечкой за головой; затем — руки у бедер, поддерживая тело движениями кистей; затем — вытянутые за головой руки... Все время, как можете понять, рот над водой, с дыханием нет проблем. А это самое трудное в плавании.

Очень скоро, минут через сорок, я уже предлагаю «работать руками» — то есть в общем-то самостоятельно плыть «в координации», и тут же показываю, как это делается. И «работают» — плывут...

Как-то само собой проплывают весь бассейн — 25 метров, с мелкого места на глубокое. Убеждаются, что глубина «не засасывает» (общее почему-то мнение всех не умеющих плавать, даже знающих физику). Тут я обычно не отказываю себе в удовольствии обратить внимание новичка на то, как глубоко у него под ногами. Но это вызывает уже не страх, а лишь веселые улыбки. Потом говорю обычно:

— Видите, а вы и не знали, что умеете плавать...

И все обязательно смеются. Ну, и я рад тоже.

Рад, потому что этих, научившихся, можно с данной минуты уже почти что предоставить самим себе (дать задание, приглядывая, конечно) и приняться за очередную группу. Научить всех желающих. А их много. Очень много. Вы даже не представляете, сколько людей в самом цветущем возрасте, в том числе студентов, не умеют плавать.

Поэтому я спешу. Запускаю на каждую дорожку максимально дозволенную норму — десять человек. Иногда больше. Боковые, ближние к бортикам дорожки — для явившихся впервые; на следующем занятии, максимум через одно, они переходят на более дальние дорожки и, уже понимая, что вода их держит, учатся плавать кролем на груди. Ну, а на центральной дорожке уже сдают норму ГТО...

Кафедра физвоспитания требует у меня списки сдавших эту норму и вполне довольна. Только вот напоминает, что скоро первенство городского совета «Буревестника», попросту говоря, первенство вузов Москвы, и надо выставить команду. Тут я сразу три дорожки должен отдать тем, кто хорошо плавает, тренируется «в избранном виде спорта», вместо того, чтобы ходить на обязательную для всех прочих физкультуру, а обучаю плаванию и принимаю нормы только на крайних.

Конечно, тех, кто тренируется и плавает самостоятельно, не запустишь по десятку на дорожку — будет каша. Поэтому в бассейне у меня сразу становится значительно свободней, и все чаще я смущенно объявляю тем, кто кое-как научился плавать и уже сдал норму:

— Не приходите, пожалуйста, больше на занятия. Мест нет.

Я уже знаю, что чаще всего следует бурное возмущение, ссылка на то, что больше недели «убито» на оформление медицинских справок для бассейна и всяких анализов, что, попросту говоря, «надо же научиться плавать по-человечески» (то есть стилем, и не одним, а всеми, потому что аппетит, как известно, приходит во время еды), что плавание, наконец, укрепляет здоровье...

Я соглашаюсь, но говорю уже тверже, что мест нет, что бассейн «не резиновый». И это сущая правда.

Никогда не забуду, как эффектно я опозорился на самых первых «своих» соревнованиях Московского

городского совета «Буревестника». То есть были команды, выступавшие и гораздо хуже нашей, некоторые вузы вообще не выставили пловцов, мы же, наглядно демонстрируя массовость еще в раздевалке и душевой, блистательно проигрывали по большинству номеров программы, тогда как более умные тренеры выставили по два-три надежных участника и только посмеивались, глядя на наше усердие.

Правда, на эстафетах мы взяли кое-какой реванш. Тогда меня удивило (потом перестало удивлять), что даже вузы, набравшие гораздо больше очков, чем мы, выставившие даже мастеров спорта, не могли подыскать хотя бы четырех, умеющих сносно проплыть стометровку для эстафеты. Не говоря уже об эстафете комбинированной, где плавают всеми четырьмя способами — на спине, брассом, баттерфляем и кролем. Ну, а в женских эстафетах участвовало вообще так мало команд, что очки получили даже последние. Меня отозвала в сторону тренер одного из вузов, занявшего тогда, кстати, не то третье, не то даже второе место, и горячо зашептала:

— Слушайте, одолжите мне одну свою студентку для эстафет. Вы же нам не конкуренты — что вам, жалко?.. У вас же три плавают баттерфляем!.. А нам бы хоть какую...(?!)

То есть в этом вузе, за который выступали мастера и кандидаты в мастера спорта (два-три человека), не нашлось четырех студенток, которые просто могли бы проплыть сто метров.

Для меня все это было откровением. Первенство МГС «Буревестника» — главные наши соревнования. Считается вполне официально: если институт занял призовое место, значит, преподаватели там не зря едят свой хлеб. Я пока что свой хлеб ел зря. Заведующий кафедрой был недоволен. На его месте я бы тоже был недоволен. Ректор указал на то, что «в данном вопросе» мы отстаем от других. Надо подтянуться.

Я принялся подтягиваться. Прежде всего просмотрел карточки первокурсников за ряд лет, где они отмечают, каким видом спорта занимались в школе, имеют ли разряд, каким видом хотели бы заняться в институте. Большинство хотело заниматься именно плаванием. Тех, кто занимался плаванием в детстве и отрочестве, было гораздо меньше. Совсем мало было спортсменов третьего разряда и только трое-четверо (из многих сотен поступивших) выполнили второй.

Я был поражен, просматривая картотеку. Вдруг вспомнил, что давно уже — может, лет десять, а может, и все пятнадцать — не видел ни на ком разрядных значков. Почти забыл, как они выглядят. Подумайте сами, не чаще ли вы встречаете стальной квадратик мастера спорта, чем гораздо более распространенный, казалось бы, значок разрядника? Да, разрядные значки сегодня не в моде. А ведь четверть века назад, в мою бытность студентом, когда и результаты спортивные были не то что нынешние, быть разрядником считалось почетным, и мы старались подчеркнуть это при случае. Правда, когда я начинал свою спортивную «карьеру», рекордные результаты были на уровне сегодняшнего первого спортивного разряда, то есть доступны, в общем, человеку со средними физическими данными. При известном усердии, конечно. Так что бесчисленные газетные истории о хилых мальчиках и болезненных девочках, коих спорт сделал силачами и красавицами, имели под собой некоторое реальное основание. Вот и я, помнится, не блистал талантами пловца, поздно, уже юношей, пришел в бассейн, однако старался, и этого было достаточно, чтобы меня считали «подающим надежды».

Сегодняшние же спортивные достижения настолько удивительны, что по плечу лишь немногим, избранным. То есть, попросту говоря, требуют врожденных способностей, которые даны далеко не каждому.

Знакомый мне тренер детской спортивной школы из семисот детей, приведенных папами и мамами, отобрал для тренировок только двоих — «перспективных»! Возмущенным родителям объяснял:

— Мы ищем таланты. Почему вы не отдаете детей в математическую школу или в музыкальную? Способностей нет! А мы чем хуже? Наша цель выявить будущих олимпийцев. Вот за что мне платят зарплату.

Попросту говоря, остальные должны понять (и понимают, поскольку действительно любят спорт и увлеченно следят за его достижениями), что «олимпийцами» им заведомо не быть. Кто-то из этих ребят, проявив упорство, все же станет пловцом-разрядником, но носить значок — афишировать свои скромные достижения — вряд ли захочет.

Так вот, подтягиваясь, я продолжал, конечно, обучать неумеющих, но уже между делом. В основном самых настырных, от которых не отвязаться. Бассейн в самом деле не резиновый. Теперь у меня на дорожках плавали прежде всего самые «перспективные» пловцы института — второразрядники и те, кто мог этот разряд выполнить. На кого я мог рассчитывать на очередных соревнованиях.

В студенческом возрасте подготовить «быстрого пловца» из новичка — задача тяжкая, может быть, даже невыполнимая. Студент технического вуза — человек крайне занятой, тренироваться он может в лучшем случае по часу-полтора два-три раза в неделю. И потом он, извините, староват. Да-да, вспомните: плавание — спорт юных. Это правда.

Но я стараюсь. Уплотняю тренировки, повышаю нагрузки. Прикидки по секундомеру — броски в полсилы, в три четверти, в полную силу... «Четвертачки», «полтииииички», полные дистанции... Форсирую события, словно впереди по меньшей мере Олимпийские игры.

Вхожу в детали личной жизни студента, интересуюсь, когда он ложится спать, что ест и как часто, не перегружается ли учебой...

Студенты отвечают вежливо, слегка улыбаясь. Они понимают: меня интересует не их здоровье, самочувствие, настроение, а вот эти бесплодные, в сущности, секунды, которые в ходе соревнований будут оценены важными для меня очками.

Постепенно мои отношения со спортсменами (и не только мои, но и других студенческих тренеров, которых я знаю) приобретают характер почти личной зависимости. Оно и понятно. Студент пришел в вуз учиться и лишь в свободное от учебы время склонен «защищать его спортивную честь». Начиная с третьего курса студент даже и не нуждается в зачете по физкультуре: нет уже в программе большинства вузов такого предмета.

Но всего обиднее, что начнутся соревнования и совсем юные пловцы легко обойдут моего бородатого и с таким трудом подготовленного второразрядника. Может быть, это какие-нибудь вундеркинды, в отроческом возрасте окончившие десять классов и поступившие в институт? Отнюдь. Просто в «Положении о соревнованиях» есть строчки: «Вузы, име-

ющие отделение ДЮСШ, имеют право включать в состав команды воспитанников...» И включают, естественно, наглядно демонстрируя, что плавание — «спорт юных».

А руководство спортивного общества на совещании тренеров заявляет с похвальной откровенностью:

— Мы выигрываем студенческие игры фактически одними детьми.

И как все просто. Достаточно оформить у себя на полставки тренера спортивной школы, выполнить некоторые формальности и автоматически подключаешь его малолетних воспитанников, которые не знают и названия вуза, к борьбе за его «честь»...

Ох, эта честь!.. Ее защищают с такой изобретательностью, которой позавидовал бы и сам д'Артаньян. Вот институт, ходивший в вечных аутсайдерах, вдруг стремительно набирает очки. Повезло: он «приобрел», наконец, отличного пловца, кандидата в мастера спорта. Правда, у него почему-то нет студенческого билета, и это как-то стало известно. Но представитель команды обещал этого кандидата «законно оформить» в студенты еще до окончания соревнований. И сдержал слово: где-то там «нажал», «провернул», «пробил» — оформил.

Чаще же всего — никакого криминала, все на законных основаниях, как говорится. В бассейнах, где тренируются молодые дарования, оканчивающие десятилетку, в начале лета обычно появляются серьезные, немного загадочные дяди. Присматриваются, прищелкивают иной раз секундомерами, интересуются:

— Куда собрались поступать?

— Да, наверное, в физкультурный...

— Идите к нам. Специальность будете иметь.

И не удивляйтесь, если на соревнованиях какой-нибудь огромный вуз представлен всегда одним-единственным факультетом. Значит, учиться на этом факультете полегче, и спортсменов зазывают именно сюда. Примерно так:

— Диплом что надо, а факультет легкий. На экономический хочешь?

Казалось бы, в таком случае одного «хотения» мало. Есть еще такие немаловажные факторы, как конкурс при поступлении, школьный балл, знания... Нелегко, в самом деле. Поэтому вузы поскромнее приглашают не всех спортсменов подряд, а только некоторых. В таком-то вузе подбирают команды пловцов и гимнастов (одно-два призовых места в будущем зачете спартакиады), в другом скажут:

— Нам гимнасты не нужны: мы—институт «легкоатлетический».

То есть здесь студента держат «за ноги».

Легко ли это? Судите сами. Преподаватель скромного вуза, вся «спортивная честь» которого держится на единственном мастере спорта, разоткровенничался:

— Мне за него чуть не все контрольные приходится делать! Да он меня после каждых соревнований заставляет панегирики писать в нашу многотиражку — его хвалить. «Иначе,— говорит,— уйду от вас. Меня всюду примут. Тем более, мне у вас учиться неинтересно, специальность не по душе».

Ну, а как все же с конкурсом и проходным абитуриентским баллом? А вот как. Серьезные дяди дежурят у дверей, за которыми сдаются вступительные экзамены.

— Ну как, проскочил?

Чаще всего «не проскочил». Начинается осада ректора, проректора, приемной комиссии... Дяди здесь хлопочут «не за себя». Им этот незадачливый абитуриент, как говорится, ни сват ни брат. Им, работникам кафедры физического воспитания, «дорога честь вуза». Ну, может ли тут не сдаться ректор, проректор и т. д., которым, между прочим, тоже дорога эта честь?..

Так через пяток лет появятся очередные специалисты народного хозяйства, инженеры, даже работники искусств «со спортивным уклоном». Отлично, например, плавающие. Или делающие двойное сальто, да еще с «винтом»...

Принимаясь за эту статью, я разговаривал со многими коллегами, и не было ни одного, кого бы устраивало такое положение дел.

В отличие от прочих ДСО наше общество «Буревестник» имеет приставку в виде буквы «С»: СДСО — СТУДЕНЧЕСКОЕ добровольное спортивное... Как же вернуть этому названию его подлинное значение? Да очень просто: соревноваться должны именно студенты, только они. Ни дети, ни «липовые» лаборанты, оставленные после окончания в вузе за свои отнюдь не научные достижения, ни тем более случайные «варяги»... А для того, чтобы сделать соревнования поистине студенческими, пора признать, что это не заслуга вуза, если туда поступил учиться мастер спорта, и не позор, если среди абитуриентов не оказалось никого выше третьего разряда: ведь будущую профессию выбирают по личному пристрастию, никак не иначе. Следовательно, состязания между такими вузами должны проводиться с учетом поправочных коэффициентов. Какой вуз в самом деле спортивнее: тот ли, который принял в свои стены одного-двух мастеров, или тот, который воспитал многих третьеразрядников?

Главная цель студенческого спорта — здоровье будущих специалистов, людей с высшим образованием. Здоровье — это и максимальная продуктивность и творческое долголетие. Не забыта ли в суете и гонке за очками и баллами эта важнейшая задача, которую при желании можно было бы выразить в миллионах рублей дохода?

Каждый поступивший в вуз проходит обязательное врачебное обследование. Решается вопрос о допуске его к занятиям физкультурой. Заполняется карта с антропометрическими данными, с показателями работы сердца, легких, проб с мышечными нагрузками — словом, детальный «портрет» организма. На следующий год процедура повторяется, и заносятся новые данные — новая «мгновенная фотография»... Сравнивается ли она с предыдущей? Или с последующей? Улучшаются данные или ухудшаются? Именно этот показатель уже давно стал важнейшим в институтах физкультуры при проверке физической подготовленности студентов — будущих тренеров, преподавателей физической культуры. Так, может быть, тем резоннее распространить его на обычные вузы, а собственно спортивные результаты вынести, так сказать, «за скобки»?

«Большой спорт» требует от человека и таланта и полной самоотдачи. А мой студент, как правило, не стремится «показывать результаты». Он хочет быть сильнее, выносливее. И если студенческий спорт будет жить по своим законам, не пародируя «большой спорт», то я, тренер, преподаватель физической культуры, знаю, как помочь этому студенту.

Хотите, я научу вас плавать?..



В НОМЕРЕ 7 1977 г

ПРОЗА



— Нет, это ему рано,— спохватился Сороков.

«Папа очень любит маму. Недавно бросил курить, выпивает только по праздникам...»

«Нет, это лишнее, — решил Сороков и зачеркнул насчет праздников. — Пора заканчивать. Под конец надо что-нибудь теплое».

«А главное, я люблю папу за то, что он никогда не ставит меня в угол».

— Иди, готово! Можешь переписывать,— позвал Сороков сына. Сын схватил листок, чмокнул отца в щеку и убежал к себе.

Сороков попробовал полежать на диване с газетой, но авторское самолюбие заставило его встать и пойти к сыну.

— Ну как, понравилось?—спросил Сороков.

— Не очень... Пришлось отредактировать.

— Покажи,— сказал папа сыну сурово и протянул руку к синенькой тетрадке.

Там было написано: «За что я люблю папу? Папу я люблю за то, что он очень хороший, и за то, что он никогда не ставит меня в угол».

— Ты что же, все самое лучшее про отца выбросил?

— Перо сухое, да и неинтересно это все.

— Что?!. Как ты с отцом разговариваешь!— загремел Сороков.— А ну, марш в угол!

Теперь все сочинение надо было переписывать.